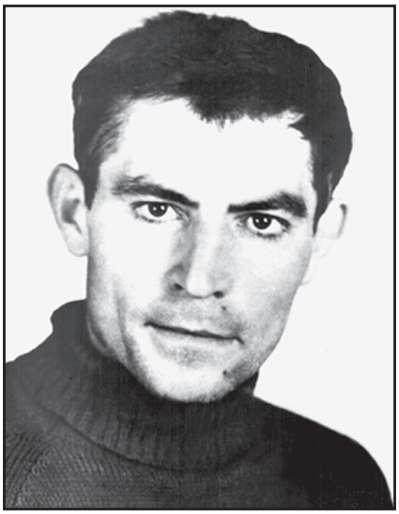
ВАСИЛЬ СТУС



ПОЕЗІЇ

СТИХИ

Переклади російською Олександра Купрейченка

ХАРКІВ
«ПРАВА ЛЮДИНИ»
2009

ББК 84.4 УКР-РОС
С 88

Стус Василь
С 88 **Поезії. Стихи** / Права людини, 2009 р. — 184 с.

ISBN 978-966-8919-78-7.

До цієї збірки увійшли вибрані поезії великого українського поета Василя Стуса (1938 — 1985). Книга видана двома мовами, переклади російською виконані Олександром Купрейченком.

Значна частина цих поезій раніше російською мовою не перекладалася.

ББК 84.4 УКР-РОС

ISBN 978-966-8919-78-7

© О.М. Купрейченко, упорядкування, 2009
© О.М. Купрейченко, переклад, 2009

...тесны врата и узок путь,
ведущие в жизнь,
и немногие находят их.

(Евангелие от Матфея — 7,14)

Василь Стус — Василий Семенович Стус (1938—1985) — выдающийся украинский поэт, критик, переводчик, общественный деятель. Родился в селе Рахнивка, Винницкой области. Окончил историко-филологический факультет Донецкого педагогического института. С 1964 г. — аспирант Института литературы АН Украины. В 1965 г. выступил против волны арестов среди деятелей украинской культуры, за что был исключен из аспирантуры, уволен с работы в государственном архиве. 12 января 1972 года был арестован и обвинен в антисоветской агитации и пропаганде. Ему инкриминировали 14 стихотворений и 10 правозащитных литературоведческих статей. Главной целью следствия было — доказать наличие постоянных и интенсивных контактов оппозиционно настроенной интеллигенции с украинскими националистическими организациями за рубежом.

Осужден на 5 лет лагерей (Мордовия) и 3 года ссылки (Колыма). В 1979 г. вернулся в Киев, однако в 1980 г., через 8 месяцев после возвращения, вновь арестован и осужден на десять лет лагерей особо строгого режима и пять лет ссылки. Объявлен особо опасным рецидивистом. Погиб в ночь с 3 на 4 сентября 1985 года в колонии ВС-389/36-1, Пермская обл. Там же и был похоронен без указания имени. В 1989 г. был с народными почестями перезахоронен в Киеве на Байковом кладбище. Посмертно — Герой Украины.

Произведения: сборники стихов «Зимові дерева» (1970), «Свіча в свічаді» (1986), «Палімпсести» (1986), Собрание сочинений в 9-ти томах (1996-1997), «Птах душі» — рукописная тетрадь стихов (ок.250) и переводов (ок.250), конфискована в лагере, до сих пор не найдена.

Ярій, душе. Ярій, а не ридай.
У білій стужі сонце України.
А ти шукай — червону тінь калини
на чорних водах тінь її шукай...

О Стусе

Василь Стус родился 6 января 1938 г. в селе Рахнивка Винницкой области. В 1941 г. семья Стусов, спасаясь от «раскулачивания», перебирается в Сталино (Донецк). С 1944 по 1954 — учеба в средней школе, потом — педагогический институт по специальности «Украинский язык и литература». Затем учительствовал, два года — в армии. Снова — учитель в Горловке, Донецкой области. В 1963 году — несколько месяцев работал литературным редактором «Социалистического Донбасса» в Донецке. С ноября 1963 г. — аспирант Института литературы АН УССР в Киеве.

Вот что сам он писал о себе в 1970 году.

Первые уроки поэзии — мамины. Знала много песен и умела очень интимно их петь. Наибольший след на душе — от маминой колыбельной «Ой, люли, люли, мое дитятко». Шевченко над колыбелью — это не забывается. А грустно пропетое: «Пойди, сын, на Украину, нас кляня» — волнует и до сих пор. Что-то похожее на печальное надгробное пение из «Заповіта« («Завещание» Т. Шевченко): «Схороните и вставайте, цепи разорвите, и вражьею злою кровью волю окропите». Первые знаки нашей духовной аномалии, печаль — как первое ощущение младенца на белом свете. Еще были — впечатления от детства. Хорошего детства.

Школьная учеба — нудная. Во-первых — на чужом языке, во-вторых — плохая. Чем скорее забудешь школу, тем лучше. В четвертом классе что-то зарифмовал про собаку. По-русски. Шуточное. Скоро прошло.

Институтские годы — трудные. Первая публицистика в стихах. Увлечение Рыльским и Вергарном.

...поехал учительствовать на Кировоградщину, около Гайворона. Армия... Почувствовал себя мужчиной. Стихи, конечно, не писались, поскольку на плечах — погоны. Но там пришел ко мне Бажан. Тогда же — первые напечатанные стихи — 1959 год.

После армии — было уже временем поэзии. Это была эпоха Пастернака и — безрассудно большая к нему любовь. Освободился

только где-то в 1965-1966 годах. Сейчас больше всего люблю Гете, Свидзинского, Рильке. Славные итальянцы (те, что знаю). Особенно Унгаретти, Квазимодо.

Еще люблю «плотную» прозу Толстого, Хемингуэя, Стефаника, Пруста, Камю. Увлекает — и очень — Фолкнер.

Поэтом себя не считаю. Держу себя за человека, который пишет стихи.

И мысль такая: поэт должен быть человеком. Тем, что полон любви, преодолевает природное чувство ненависти, освобождается от нее, как от скверны. Поэт — это человек. Прежде всего. А человек — это прежде всего творец добра. Если бы жить было лучше, я б стихов не писал, а — работал бы на земле.

Еще — презираю политиков. Еще — ценю умение честно умереть.

Вторая половина 1960-х годов. Свидетелям той поры не трудно понять, насколько не соответствовал Стус тогдашней общественной атмосфере, литературным критериям, установленным державой. Но не только это делало невозможными публикацию его произведений. В конце августа 1965 года была проведена серия политических арестов в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Луцке и других городах.

4 сентября 1965 г. — этапный момент в жизни Василя. В это день в кинотеатре «Украина» был назначен общественный просмотр фильма «Тени забытых предков», выход которого во внутренний прокат все откладывался по необъявленным причинам, что вызывало слухи; возникали разные версии, связанные с обострением борьбы с т. н. «украинским буржуазным национализмом» и первыми шагами диссидентства в Украине. После короткого выступления Параджанова на сцене неожиданно появился человек, который от слов о значении фильма для самосознания украинцев незаметно и неожиданно перешел на опасную тему — репрессий против инакомыслящих. И это в зале, где было полным-полно сотрудников КГБ. Выступавший — был Иван Дзюба.

Раздались выкрики: «Националист! Столкните его со сцены! Бей националистов!» Дзюбе не дали договорить и вытеснили со сцены. И тогда со своего места в зале встал Стус. Быстро, чтобы успеть до начала фильма, он начал говорить о том, что КГБ были арестованы двадцать восемь представителей украинской интеллигенции. И начал читать список с фамилиями адресованных. Все-та-

ки всех назвать не успел — его слова заглушили воем сирены. Затем выключили свет. Так начался фильм «Тени забытых предков»...

Реакция воспоследовала быстро. Уже 20 сентября Стус был исключен из аспирантуры, а потом уволен из Государственного исторического архива.

Работал на строительстве, кочегаром, инженером технической информации в проектно-конструкторском бюро. Это были годы интенсивной творческой работы: поэзия, переводы, критика, опыты в прозе. И в это же время — его открытые письма в Президиум Союза писателей в защиту В. Чорновила, редактору журнала «Отчизна» в защиту И. Дзюбы, в ЦК КПУ и КГБ, в Верховный Совет УССР, где он горячо доказывает гибельность политики ограничения свободы слова, кричащих нарушений прав человека.

12 января 1972 года Стус был арестован и обвинен в антисоветской агитации и пропаганде. Ему инкриминировали 14 стихотворений и 10 правозащитных литературоведческих статей. Главной целью следствия было доказать наличие постоянных и интенсивных контактов оппозиционно настроенной интеллигенции с украинскими националистическими организациями за рубежом.

7 сентября 1972 года осужден Киевским областным судом на пять лет лагерей строгого режима и три года ссылки. Находясь в заключении в Мордовии, продолжал писать поэтические произведения, заявления-протесты против преследований инакомыслящих в СССР. «Судебные процессы на Украине — это суды над человеческой мыслью, над самим процессом мышления, суды над гуманизмом, над проявлениями сыновней любви к своему нарду» — писал Стус в своем публицистическом письме «Я обвиняю». Время от времени стихи во время «шмонов» отбирали, нависала угроза их уничтожения, что было для Стуса самым страшным испытанием. Старался как можно больше стихов пересылать в своих письмах жене. В Мордовии это удавалось, позднее стало невозможным. Его часто карали карцером, Стус имел только одно свидание. Осенью 1975 года Стус едва не погиб в результате прободения язвы желудка. Перед госпитализацией его привозят в Киев для «профилактики». 10 декабря в больнице для заключенных под Ленинградом его прооперировали.

В 2003 году в архивах было найдено письмо Стуса от 15 февраля 1978 года академику Сахарову, из которого хорошо видно в каких условиях он жил и творил в ссылке.

10 февраля работал в штольне с утра. Около 11 часов меня срочно вызвали в отдел кадров. Оказалось, меня ждал наряд работников КГБ — из Усть-Омчуга, Магадана и, кажется, Киева. Магаданский следователь предъявил мне ордер на обыск в комнате общежития, где я проживаю. При обыске у меня были изъяты мои стихи, копия обвинительного заключения, выписки из следственного дела 1972 г., письма ко мне. Изъята и записная книжка с адресами лиц, с кем я обмениваюсь письмами. Обыск проводился с 11.30 до 9.30 вечера. К финалу я собрал вещи — белье и сухари, но получил лишь повестку — в КГБ для дачи показаний в качестве свидетеля. Формально меня допрашивали 3 дня — 11, 12, 13 февраля. Речь шла о Лукьяненко (Левко Лукьяненко, 1927 г. р., известен как последовательный борец с коммунистическим режимом. Провел в тюрьмах 27 лет, имел смертный приговор — А.К.) *и об Украинском комитете содействия (Український наглядовий комітет). Конечно, отвечать я отказался, кроме тех случаев, где мой отказ был хуже ответа. Например, писал ли мне Левко Лукьяненко «о желании выехать за границу». Отказавшись отвечать в целом на вопрос — поддерживал ли я с ним переписку, на вопрос о таком письме я ответил: нет. Конечно, о деятельности «Українського наглядового комітету» я отвечать отказался, а в конце протокола потребовал, чтобы материалы так называемого дела Лукьяненко 1961 г., политических репрессий на Украине 1965 и последующих годов были направлены в Белград, К. Вальдхайму и в комиссию ООН по правам человека.*

Не удержался я и от того, чтобы заявить: Левко Лукьяненко — человек, своей тяжкой участью доказавший преданность идеалам гуманизма, добра и справедливости.

В страшной беде и в полном одиночестве оказалась Надя Лукьяненко (имел от нее слезное письмо). Ответил, стараясь успокоить и подбодрить, вспоминая судьбу Н. Г. Чернышевского и его письма жене из тюрьмы.

Сегодня получил еще письмо от И. Кандыбы, чьи письма доходят ко мне одно из трех. У него тоже был обыск, как и у Любы Попадюк. 27.01. его вызывал следователь Левка Лукьяненко капитан Сапек. Оказывается, Л. Лукьяненко… обвиняют за статьи «Год свободы» — о П. Рубахе, из-за вопроса об эмиграции украинцев, то есть, по-видимому, о специфике эмиграционной политики по отношению к украинским движенцам; в обвинении — обращение

к Белградскому совещанию. Ну, а главное, видимо, — участие в Группе содействия. Считаю, что предэтапное положение и у него, и у И. Кандыбы, может, и у Саши Болонкина, может, и у Л. Попадюк (судя по изыманиям).

Уважаемый Андрей Дмитриевич!

Очень прошу Вас — задумайтесь хотя бы над тем, почему так предвзято (сравнительно) относятся к украинцам органы КГБ, почему такая же (иного, правда, толка) предвзятость существует и со стороны москвичей (хотя бы некоторых). Неужели мы заслужили роли париев?

В августе 1979 года Стус вернулся в Киев, работал формовщиком в литейном цеху, на конвейере обувного объединения «Спорт». Выступал в защиту репрессированных членов Украинской Хельсинкской Группы. Людей, близких к УХГ, репрессировали грубейшим образом. Стус становится членом ослабленной арестами УХГ.

14 мая 1980 года — снова арест. Десять лет лагерей особо строгого режима и пять лет ссылки. Объявлен особо опасным рецидивистом.

19 октября 1980 года академик А.Д. Сахаров обращается с письмом в защиту Стуса в адрес Мадридского совещания по проверке выполнения Хельсинского соглашения.

Срок Стус отбывал в лагере особого режима в Пермской области. Условия содержания тут были очень тяжелые: постоянные притеснения администрации, лишение свиданий, болезни. В начале 1983 года держал голодовку 18 суток. Упрятан на год в одиночку. Но и в этих условиях много писал. Приблизительно 250 стихотворений, написанных верлибром, и 250 переводов должны были составить книгу, названную им «Птица души». Но все написанное немедленно конфискуется. Судьба этих текстов до сих пор неизвестна.

В 1983 году Стусу удалось передать на волю текст с названием «Из лагерной тетради». После его опубликования на Западе, давление на него усилилось. Выдающийся писатель Генрих Белль, Нобелевский лауреат, неоднократно выступавший в защиту Стуса, в интервью немецкому радио 10 января 1985 года сказал: «Его (Стуса) так называемое преступление состоит в том, что он пишет свои поэзии по-украински, а это интерпретируют как антисоветскую деятельность... Стус пишет сознательно по-украински. Это единственный упрек, который мне известен. Даже не упрек в национализме, что также легко применяют, а исключительно на основании

украинского творчества, которое трактуют как антисоветскую деятельность».

28 августа 1985 года Стус в очередной раз был брошен в карцер, где объявил голодовку «до конца».

Погиб ночью с 3 на 4 сентября…

Литературные критики — в Украине и вне Украины — признают, что Стус был самой масштабной фигурой в украинской поэзии второй половины, а может и всего XX столетия. При жизни об этом практически никто не говорил вслух.

Во-первых, боялись — прежде всего, те, кто знал настоящую цену слова Стуса: коллеги по цеху, украинские советские писатели и литературоведы, профессиональные молчуны 70-тых.

Во-вторых, современники практически не имели возможности читать его произведения — последняя прижизненная его публикация в Советском Союзе была в журнале «Донбасс» в начале 1966 года. Следующая — только в 1989 году — в газете «Молодежь Украины». Благодаря усилиям семьи поэта, в 90-х гг. во Львове было издано собрание сочинений Стуса.

Но те люди, которых судьба связывала со Стусом, не могли не признавать величия этой фигуры. Михаил Хейфец, товарищ по мордовскому периоду заключения, как только вышел из лагеря и добрался до Запада, написал: «В украинской поэзии большего нет…».

В Киеве на старинном Байковом кладбище, в дальней верхней его части на участке № 33 есть три приметные могилы. Три мощных каменных креста, стоящие рядом, сразу привлекают внимание.

Здесь, в родной земле, обрели покой три украинских патриота, три узника совести, три побратима по лагерной доле.

В 1989 г. в Киев из далекой Перми были привезены и с почестью перезахоронены останки Юрия Литвина, Олексы Тихого, Василя Стуса. На кресте, что над могилой Стуса, в камень врезались рукописные строки:

«Пылай душа. Пылай, а не рыдай.
В белесой стуже сердце Украины.
Ты тень ищи червонную калины,
на черных водах тень ее узнай…».

(перевод А.К.)

Эти слова из стихотворения, написанного поэтом на смерть талантливой художницы Аллы Горской и читавшегося им на ее похоронах в 1970 году, теперь возносятся над его могилой. Над его второй могилой, потому что первая — была в селе Борисово (вблизи поселка Кучино) Чусовского района Пермской области. Рядом с могилами других заключенных. Деревянный столбик с жестяной табличкой: № 9 — такой чести удостоила держава великого украинского поэта, замученного морально и физически по тюрьмам, зонам и ссылкам, и погибшего в ночь с 3 на 4 сентября 1985 года в колонии ВС-389/36-1.

Наверно, никто теперь уж и не вспомнит о себе — где был, что делал, что думал в начале сентября 1985 года. Ну, была перестройка, Горбачев… в общем — демократия. А в это время — в холодном тюремном карцере держал свою последнюю голодовку протеста талантливейший поэт и несгибаемый человек, вся вина которого была в том, что он любил свою родину. Не вообще 1/6 часть земли — СССР, а свою далекую Украину, где родился и вырос, где его корни, его народ, его язык. Жить ему оставалось несколько дней…

Был бы Стус Стусом, если бы не пошел до конца, если бы выжил? Проклятый вопрос. В той системе, в той жизни такой человек, который так думал, веровал, так писал, и должен был погибнуть. Стус поэт и Стус человек едины. Редкостная, трагическая нераздельность поэзии и судьбы — это про него сказано академиком Дзюбой. В 1975 году Стус писал: «…Изо всех возможных героизмов при наших условиях существует только один героизм мученичества, принудительный героизм жертвы. Пожизненным позором этой страны будет то, что нас распинали на кресте не за какую-то радикальную общественную позицию, а за сами наши желания иметь чувства самоуважения, человеческого и национального достоинства».

* * *

Верни до мене, пам'яте моя!
Нехай на серце ляже ваготою
моя земля з рахманною журбою,
хай сходить співом горло солов'я
в гаю нічному. Пам'яте, верни
із чебреця, із липня жаротою.
Хай яблука осіннього достою
в мої червонобокі виснуть сни.
Нехай Дніпро уроча течія
бодай у сні, у маячні струмує.
І я гукну. І край мене почує.
Верни до мене, пам'яте моя!

* * *

Не поспішай. Хай осінь і не жде,
клечаючи діброву походою,
хай горне листя полум'я руде,
мов лис крадеться жухлою травою
Підгусклий, не колотиться твій став,
а виспокоївсь, висклів — ні зрухнеться.
Хай любої мережаний рукав
уже довкола шиї не пов'ється.
Не поспішай. Схились до того пня,
котрий на пагорбі, як гриб, чорніє.
І пригадай. Збагнувши навмання,
що довгий вік твій досі струменіє,
хоч упокорилася течія
твоїх бажань, твоїх волань забутих.
О Господи, не видно и не чути,
де та межа — чужа ачи твоя.
Підгусклий, не колотиться ставок
та не спіши проставити бемолі
на це опале листя, віти голі,
на безоглядний час, потік і крок.

* * *

Ко мне, о память, возвратись моя!
Пускай на сердце ляжет сладкой болью
моя земля с печалью и любовью,
пусть дарит трели горло соловья
ночному лесу. Память, возвратись
из чабреца июльскою жарою.
Пусть яблоки осеннего настоя
червонным сном окрашивают высь.
Пусть величавая Днепра струя,
хоть и во сне, как в дни былые дышит.
Я позову. И край меня услышит.
Вернись, о память светлая моя!

* * *

Не торопись. Пусть осень и не ждет,
а, походя, раскрасила дубравы,
и листья рыжим пламенем метет,
как лис крадется, приминая травы.
Твой пруд застыл, стеклом холодным став,
и в тишине заснул — не шелохнется.
Пускай любимой кружевной рукав
вкруг шеи никогда не обовьется.
Не торопись. Сровняйся с этим пнем,
что на пригорке, словно гриб чернеет.
И наугад припомни день за днем —
еще у жизни русло не мелеет,
хоть и утихомирился поток
твоих желаний и призывов прежних.
О Господи, пытаться безнадежно
узнать предел и свой последний срок.
Застыл твой пруд, и замерла душа,
но не спеши переставлять бемоли
с изломов веток на изломы доли,
на скорый бег времен, поток и шаг.

* * *

На Лисій горі догоряє багаття нічне
і листя осіннє на Лисій горі догоряє.
А я вже забув, де та Лиса гора, і не знаю,
чи Лиса гора впізнала б мене.
Поро вечорова, поро тонкогорлих розлук!
І я вже не знаю, не знаю, не знаю, не знаю,
чи я ще живий чи помер чи живцем помираю,
бо все відгриміло, відгасло, відграло довкруг.
І ти — наче птаха — понад безголів'ям летиш,
над нашим, над спільним, понад
світовим безголів'ям
Пробач. Я не буду. Це просто прорвалось
знечів'я...
Коли б ти лиш знала, о як ти ще й досі болиш...
І досі ще пахнуть журливі долоні твої,
і губи — гіркі — аж солоні — подосі ще пахнуть,
І тінь твоя, тінь проліта — схарапудженим птахом,
і глухо, як кров ув аортах,
солоні гримлять солов'ї.

* * *

Бальзаку, заздри: ось вона, сутана,
і тиша, і самотність, і пітьма!
Щоправда, кажуть спати надто рано,
ото й телющиш очі, як відьмак,
на телевежу, видну по рубінах,
розсипаних, мов щастя навісне.
Отут і прокидається уміння
накликати натхнення, що жене
од тебе всі щонайсолодші мрії
і каже: віщий обрій назирай,
де ані радості, ані надії.
То — твій правдивий край. Ото — твій край.

* * *

На Лысой горе остывает потухший костер,
осенние листья на Лысой горе догорают.
А я позабыл, где стоит та гора, и не знаю,
забыла меня, или помнит она до сих пор.
О время вечерних твоих тонкогорлых разлук!
Уже я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю,
я жив или умер, а, может, живьем умираю,
ведь все отгремело, погасло, поблекло вокруг.
И над безысходностью ты — словно птица летишь —
над нашей с тобой,
над отчаянным света несчастьем.
Прости. Я не буду. Прорвалось.
Ну что за напасти...
О, если б могла ты узнать, как во мне ты болишь...
Еще они пахнут печалью — ладони твои,
и горько-соленые губы — их запах мне снится,
и тень твоя, тень пролетает — испуганной птицей,
и глухо, соленою кровью в аортах
гремят соловьи.

* * *

Бальзак, завидуй: вот она, сутана,
и тишь, и одиночество, и мрак!
Конечно, спать ложиться — слишком рано,
ну и таращишь очи, как ведьмак
на телевышки красное горение —
рубиновое счастье в проводах.
Вот тут и возникает вдохновение,
что не дает запутаться в мечтах,
отгонит чары сладостных желаний,
прикажет: высший горизонт узнай,
где нет ни радости, ни упований.
Там — твой правдивый край. Он твой — тот край.

* * *

Хрещатиком вечірнім під неоновим
блідавим світлом, у суху поземку
ти плинеш, таємнича незнайомко
із Блока — в вечір, ніби в синій сон.
Сповита мороком, загорнена у норку,
ти висвітлила темінь і дорогу,
мов лижниця, що донесла з Говерли
тривожний запах снігу і зірок.
Чужа розмовам, юрбам і рекламам,
поміж сирен, гудків автомобілів
несеш крізь гамір вулиць і проспектів
свою солону і гірку красу.
Так спроквола у мерехтливий вечір,
в хлипкій пітьмі нічного снігопаду,
охрипне сніг у тебе під ногами
під владним деспотичним каблуком.
І перед диктатурою краси
відступляться потворні диктатури,
одну-єдину і високу владу
утверджуєш ти образом своїм.
Ти словом і мовчанкою — караєш,
байдужістю холодною — караєш,
ти спокоєм і кроками — караєш,
морозом — теж, і завірюхою — теж.
Але неправота твоя — красива,
твої покари — горді і красиві,
Хрещатик сивий, Київ теж — красиві,
бо ти в цей світ державити прийшла.

* * *

Крещатиком вечерним под неоновым
белесым светом, по сухой поземке
скользишь, таинственная незнакомка
из Блока — в вечер, будто в синий сон.
Обвита мраком и закутанная в норку,
ты осветлила темень и дорогу,
как лыжница, что принесла с Говэрлы[1]
тревожный запах снега, запах звезд.
Чужая толкам, толпам и рекламам,
ты меж сирен, гудков автомобильных
несешь сквозь гомон улиц и проспектов
свою солено-горькую красу.
И постепенно в сумерках дрожащих
и в хлипкой тьме ночного снегопада,
снег у тебя охрипнет под ногами
под властным деспотичным каблуком.
А перед диктатурой красоты
отступятся любые диктатуры,
высокую, единственную власть
ты утверждаешь образом своим.
Ты словом и молчанием — караешь,
холодным безразличием — караешь,
спокойствием и поступью — караешь,
караешь вьюгой и морозом ты.
А все ж неправота твоя — красива
и кары гордые твои. Красивы
седой Крещатик твой и старый Киев,
ведь в этот мир ты властвовать пришла.

[1] Говэрла — снежная вершина Карпат.

* * *

Від радості — у степ,
від зобов'язань — хода.
В долину — де цвіте
заспівана природа.
Ні партії тобі,
ні диктатури дурнів,
іди — у вечір журний
зализувати кров.
Ласкаве підпадьом.
Рулади солов'їні.
Шелепання качине
і день, густий, як бром.
Два хлопчаки якісь
у бадмінтона грають.
Від рання і до рання
лиш кумкання жабів:
і вже — помолодів,
і вже — розвеселілий,
ти чуєшся на силі
між молодих дубів.

* * *

Как радостно — сбежать.
В степь. От долгов дать хода!
В долину, там, где мать —
та самая, Природа.
Ни партии тебе,
ни диктатуры дурней,
иди в свой вечер смурый,
там и залижешь кровь.
Лес встретит соловьем.
Плеск в камышах утиный.
Там — свист перепелиный.
И день густой, как бром.
Беспечно в бадминтон
два мальчика играют.
С утра не умолкает
лягушечий трезвон.
Ты молод, ты здоров...
Веселый и счастливый,
ты впитываешь силы
меж молодых дубов.

* * *

Високі думи відійшли, як грози,
Поезія, як віра, відійшла.
І навертається рядок до прози
Змайстрованого прадідом стола.
Де хліб і сіль. І сала жовтий шмат.
Де чорні руки, але світлі душі
Моїх батьків. Де сльози, ніби груші
Старого саду, падають, мов град.
Вони самі — старі пенсіонери,
Сивенький тато — слюсар заводський,
З парокотельні слухає гудки
І, певно, вже не жде нової ери.
Бо сплинув вік. І мариться село,
Де руки діда, схрещені в могилі.
Рахнівка. Гайсин. Голубе Поділля.
Все забуттям, мов терням, поросло.
Бо сплинув вік. По Таврії, по наймах,
По вежах Закавказзя. По роках.
І вижовк світ по всіх материках.
Лишився цей. Малий. В вікні. У рамах.
Оце твій світ. Нехай малий, та свій.
Незрадний. Твій. Довірений і вірний.
Хай пам'ять бродить і гуде, як рій.
Це — твій. Пенсіонерний і вечірній.
Усе пройшло. Надії, боротьба
За крихту щастя і за крихту хліба.
За крихту віри. Але син раба,
На гребні літ ти власне рабство здибав.
Мовчи, глуха. Або мовчи та диш.
Або: роби грудьми — людьми не будем.
Революційних спалахів та хвищ
Вогонь бадьорий й вітерець остудить.

* * *

Высоких мыслей отгремели грозы,
Поэзия, как вера, отошла.
Строка дозрела до надежной прозы
Сработанного прадедом стола.
Где хлеб и соль. И сала желтый шмат.
Чернеют руки, но сияют души
Родителей. И слезы, словно груши
В саду их старом, падают, как град.
Они одни. Давно пенсионеры.
Седой отец — он слесарь заводской,
Парокотельной ждет гудка с тоской,
Уже не ожидая новой эры.
Век пролетел. И видится — село,
Где руки деда скрещены в могиле.
Рахнивка[1]. Гайсын. Давнее Подилье.
Все забытьем, как терном поросло.
Век пролетел. В Тавриде с батраками,
По башням Закавказья. По годам.
Пожолкнул свет по всем материкам.
Остался только — что в оконной раме.
Вот он — твой свет. Пусть маленький, но свой.
Надежный. Твой. Доверенный и верный
Пусть память бродит и гудит, как рой.
Он — твой. Вечерний и пенсионерный.
Все пронеслось. Надежды и борьба
За крошку счастья — здесь, на этом свете.
За хлеб и веру. Только, сын раба,
На гребне лет свое ты рабство встретил.
Молчи, глухая. Знай себе — дыши.
Дыши поглубже — толку с нас не будет.
А революционный жар души,
Огонь ее — и ветерок остудит.

[1] Село Рахнивка, Гайсынского района, Винницкой обл. — родина Стуса.

* * *

Розспіваний сніг, розлінований лижами, ранній,
летять з горобини червоні, як кров, снігурі.
На шибах лисиці, рожево-руді од світання,
а ти притулись до подушки і сльози гарячі утри.
Ген-ген як погнало цю щойно прокладену лижву
за чорні за сосни, за синій морозяний бір.
Колись ми блукали там, рвали у падоли пижмо,
і довге мовчання було — солодких довір і невір.
Бо що я тобі — як коршак, надлетів і розтанув,
і вже ані чутки, ні гадки. І вже не позвеш, не вернеш.
На шибах лисиці, рожево-руді од світання,
і мабуть, задарма ти любиш, задарма чеканням кленеш.
Із чорної невіді зву я тебе — накликаю,
витаю, мов дух, спроневірений, чорний, жалкий,
а вітер відьомський напругле крило прошиває,
одвіку тут шабаш справляють почвари гидкі.
Болить мені путь. Розлінований лижами, ранній
розспіваний сніг уривається в вирві німій.
На шибах лисиці, рожево-руді од світання,
окрий мене сном, безсоромна, непам'яті краєм окрий.

СПОГАД

Край золотого бережка
вода струмила,
щока, солона і гірка,
мені щемила.
Єдвабом теплим обдало
мій зір колючий,
вечірнє сонце відійшло
за дальні кручі.
І захід дзвоном калатав,
і звістувала
зоря між радісних заграв,
що ніч настала.

* * *

В искрящийся снег, между лыжных полос, чуть приметных,
упали с рябин, словно красная кровь, снегири.
Как розово-рыжие лисы в окошках рассветных.
Но ты не вставай и горячие слезы утри.
О, как далеко прорезается след этот лыжный
за черные сосны, за синий, весь в инее бор.
Там раньше бродили мы, рвали осеннюю пижму.
Там встретили радость надежд и сомнений укор.
Ведь что я тебе — словно коршун, мелькнул незаметно,
и больше — ни слуху, ни духу. Зови — не зови, не вернешь.
Как розово-рыжие лисы в окошках рассветных...
Быть может, напрасно ты любишь и зря ожиданьем клянешь.
В неведенье черном мой голос тебя призывает,
хоть духом сомнений колючим становишься тут,
а ветер бесовский упруго крыло обдувает,
здесь издавна гадкие твари свой шабаш ведут.
Манил меня путь, что прочерчен до мест тех заветных
по снегу лыжней, но пропал за метелью слепой.
Как розово-рыжие лисы в окошках рассветных,
укрой же, бесстыжая, сном и забвения краем укрой.

ВОСПОМИНАНИЕ

Край золотого бережка
волна омыла,
солено-горькая щека
моя щемила.
Теплом, как шелком, обдало
мой взор колючий,
под вечер солнце отошло
вдали за кручи.
А запад все звенел тогда,
но подсказала
меж зорь улыбчивых звезда,
что ночь настала.

ОЗЕРО КИСЕГАЧ

Сурмлять прощання дальні журавлі,
на пізніх ватрах догоряє осінь,
і обрію зеленувата просинь,
мов кораблі, гойда гірські шпилі.

Тривожить вітер віти чорних сосон,
колише біля пристані човни,
берез хвилює неспокійні сни,
ворушить хмар улежані покоси.

І місячна доріжка ув імлі
лягла сріблястим спалахом на хвилі.
Окрилля хвиль — неначе гуси білі!
проблисне і розтане віддалі.

Та зорі, як медузи, брижать воду:
в'юнкі маленькі рибки золоті
хлюпочуться в холодній самоті.
Пантрує місяць їх цнотливу вроду.

Прощай, Урале, радісна покаро!
Натужно хвилі в берег б'ють і б'ють,
немов прощальні поцілунки шлють,
лиш чути серця трепетні удари.

Хай відсурмили дальні журавлі,
хай сурми вранці виграють тривогу,—
та хороше на цій землі, їй-богу,
тривожно й хороше на цій землі.

ОЗЕРО КИСЕГАЧ

Трубит прощанье журавлиный хор,
в кострах последних догорает осень,
морской волной у горизонта просинь,
как корабли, качает пики гор.

Тревожит ветер ветви черных сосен,
колышет возле пристани челны,
тревожные берез волнует сны,
туч ворошит доспелые покосы.

Во мрак уходят горы-корабли,
и лунная дорожка серебрится.
Окрылья волн, как крылья белой птицы,
мелькнут — и затеряются вдали.

Медузами поверхность вод волнуя,
как рыбки бьются звезды-огоньки,
холодные небесные вьюнки.
Следит луна их красоту земную.

Прощай, Урал[1] — ты, радостная кара!
Натужно волны в берег бьют и бьют,
они прощанья поцелуи шлют,
лишь сердца трепетно звучат удары.

Пусть грустный клич растаял в синей мгле,
пусть утром трубы протрубят в дорогу —
тревожно чуть, но славно мне, ей-богу,
и хорошо — на этой вот земле.

[1] Поэту 23 года, он отслужил «действительную» и возвращается...

* * *

Там, де надріччя, біле од пісків
змаячене дніпровою сагою,
де тільки верболіз, і ніч, і ти,
а більше ні душі — тримавши вудку,
снував я довгу думу. Передсвіт
ледь мерехтів над кручею. Кричало
якесь маленьке немічне пташа,
і земснаряд зненацька заливався
високим зойком двох своїх сирен.
Там я збагнув себе і світ і час
і моторошно стало. По раптовій
одміні мого погляду здалось,
що це не я живу, а хтось, до мене
іще народжений, був уступився
і дух забив і душу геть обліг,
що, призвичаєний до нього змалку,
я й не пізнав себе, бо ж і не був
самим собою. Мов брати сіамські,
ми уводносталь з ним і живемо.

* * *

Где берег белый-белый от песков
залив Днепра очерчивал в тумане,
где лишь ивняк густой, и ночь, и ты,
и — ни души, над удочкой застывши,
сновал я думу долгую. Рассвет
чуть трепетал над кручею. Кричала
пичуга малая и слабая во тьме,
и земснаряд внезапно заливался
высоким криком двух своих сирен.
Там я постиг себя и мир и время,
и жутко стало. Встрепенувшись, разом
представил я совсем другое вдруг:
что это вот не я живу, а кто-то,
рожденный до меня, в меня вошел,
сразил мой дух и душу спеленал,
и что я сам, к нему привыкнув с детства,
себя не знал, ведь никогда и не был
самим собой. Как в близнецах сиамских
мы с ним соединились и живем.

* * *

Ще й до жнив не дожив,
в полі жита не жав.
Досі — не долюбив,
і не жив, і не жаль.
Що життя — то хіба
твоя сутня межа?
Смерть заріже раба,
і нехай — без ножа.
Але жити — замало.
Боротись — умій,
щоб нащадок твій змалку
бува не знімів.
Не знімів на уста
і на вуха не зглух.
Хай помреш!
Та за на-
ми оста-
неться рух.
Згинем — хай!
Хай — ославлені.
Хай — не біда,
вікова чортопхайка
наближує даль.
По роках, по кістках,
по обмерзлих гробах
витрамбовує повінь
для річища шлях.
А до жнив не дожив,
в полі жита не жав,
і замало любив —
то, їй-богу, не жаль.

* * *

И до жнив не дожил,
в поле жита не жал.
Так и не долюбил,
и не жил, и не жаль.
Что ж, земная судьба
человеку — межа?
Смерть зарежет раба,
и пускай — без ножа.
Только жить — слишком мало.
Бороться — умей,
чтобы сын твой с младенчества
не онемел.
Не замкнул бы уста,
не оглох бы от бед,
Пусть умрешь!
Но за на-
ми оста-
нется след.
Сгинем — пусть!
Пусть — ославлены.
Пусть — не беда,
ведь повозка веков
все же тащится в даль.
По годам, по останкам
в обмерзших гробах
наводнение руслу
пробьет новый шлях.
А до жнив не дожил,
в поле жита не жал,
слишком мало любил —
так, ей-богу, не жаль.

* * *

У цьому полі, синьому, як льон,
де тільки ти і ні душі навколо,
уздрів і скляк: блукало в тому полі
сто тіней. В полі, синьому, як льон.
І в цьому полі, синьому, як льон,
судилося тобі самому бути,
аби спізнати долі, як покути
у цьому полі, синьому, як льон.
Сто чорних тіней довжаться, ростуть
і вже як ліс соснової малечі
устріч рушають. Вдатися до втечі?
Стежину власну, ніби дріт, згорнуть?
Ні. Вистояти. Вистояти. Ні —
стояти. Тільки тут, У цьому полі,
що наче льон. І власної неволі
спізнати тут, на рідній чужині.
У цьому полі, синьому, як льон,
супроти тебе — сто тебе супроти,
і кожен супротивник — у скорботі,
і кожен супротивник, заборон
не знаючи, вергатиме прокльон,
неначе камінь. Кожен той прокльон
твоєю самотою обгорілий.
Здичавів дух і не впізнає тіла
у цьому полі, синьому, як льон.

* * *

На этом поле, синем, словно лен,
где только ты и ни души нет боле,
узрел и онемел: блуждали в поле
сто теней. В поле, синем, словно лен.
И в этом поле, синем, словно лен,
судилось с одиночеством свиданье,
чтобы судьбу познать, как покаянье,
на этом поле, синем, словно лен.
Сто черных теней заступают путь,
они уже — как молодняк сосновый.
Приблизились, достать тебя готовы.
Бежать? Путь собственный в клубок свернуть?
Нет. Выстоять. Не просто выстоять —
стоять. И только тут, на этом поле,
что словно лен. И собственной неволи
в родной чужбине истину познать.
На этом поле, синем, словно лен,
твой враг — напротив, сто скорбящих теней.
И каждая — неузнанный твой гений,
он — прежний ты. Не ведая препон,
и злобою и гневом разъярен,
как град камней, вернет проклятье он,
что в одиночестве твоем горело.
Дух одичал и не узнает тела
на этом поле, синем, словно лен.

* * *

Перейти Рубікон —
це пройти через людні проспекти.
Володимирська.

Рубікон — не важкий.
Рубікон — як мета.
Обійти Володимирську гірку,
сісти нижче альтанки,
спустившися вниз до Дніпра.
Потім — вени відкрити,
немов відкривають кватирку.
І пішов
сторч очима.
Вже зроблено крок.
І пора.
І пора. І не жди,
Коли весь розлетишся, як бризка
об свічадо води,
об свічадо примерзлого дна.
Закінчилося. Все.
Під тобою підведено риску.
Як ти прямо згоряв!
Як ти винищився аж до пня!

* * *

Перейти Рубикон —
через людные выйти проспекты
на Владимирскую.

Рубикон — не тяжел.
Рубикон — это цель.
По Владимирской горке пройти,
сесть пониже беседки
на днепровском крутом берегу.
И потом — вены вскрыть,
как легко открывают окошко.
И, не глядя,
пошел.
Шаг ты сделал уже.
И пора.
И пора. И не жди,
разлетаясь на мелкие брызги
о зеркальную воду,
о зеркало мерзлого дна.
Так закончилось. Все,
и теперь ты уже — за чертою.
Как ты стойко сгорал!
Как ты выгорел жарко. Дотла!

* * *

Калюжа, мов розчавлений павук,
сліпила шлях і заступала кроки,
чіпляючись до походи людської
і присмеркових зойків. Крізь імлу
надобрію здіймався ярий місяць,
скрадаючись повз виголілі крони
осіннім вітром видутих дерев.
Асфальтом біг старий кудлатий пес,
сахаючися гамору людського,
сирен автомобільних і бездонної,
мов поніч, яро-чорної води,
котра солопила на огорожу
розбійницького злого язика.

* * *

Пожухле листя опадає з віт,
голосить голий стовбур схриплокронний.
Це — похорон життя. Безоборонний
і безоглядний розпач. Древній міт,
що стратив чари. Пітьма наросла
напростопадним муром — мов тумани
даремних змбгань, поривів, омани
твоїх безкрилих злетів — без числа.
Розвіявся далекий чар і чад:
і, вже на Мономаховому возі,
літорослі, рушаєм по дорозі,
з котрої не вертаються назад.

* * *

Разбрызганная лужа, как паук
раздавленный, сбивала шаг прохожим,
цепляясь к поступи людской и вскрикам
в слепом вечернем сумраке. Во мгле
всходил над горизонтом ярый месяц,
крадясь сквозь оголившиеся кроны
деревьев, выдутых осенним ветром.
Кудлатый старый пес бежал асфальтом,
шарахаясь от галдежа людского,
сирен автомобильных и бездонной
полночно-черной, аспидной воды,
что будто выставила огороже
разбойничий и злобный свой язык.

* * *

Сухие листья падают с ветвей,
и плачет голый ствол охрипшей кроной.
Вот так уходит жизнь. Без обороны,
отчаянно и просто. Без затей
миф древних чар лишился. Наросла,
стеной упала темень — как туманы
противоборств напрасных, и обманных
твоих бескрылых взлетов — без числа.
Исчезли чары и развеян чад:
уже от Мономахова порога
нам, пасынкам, начертана дорога.
С нее не возвращаются назад.

* * *

Сто років, як сконала Січ.
Сибір. І соловецькі келії,
і глупа облягає ніч
пекельний край і крик пекельний.
Сто років мучених надій,
і сподівань, і вір, і крові
синів, що за любов тавровані,
сто серць, як сто палахкотінь.
Та виростають з личаків,
із шаровар, з курної хати
раби зростають до синів
своєї України-матері.
Ти вже не згинеш, ти двожилава,
земля, рабована віками,
і не скарать тебе душителям
сибірами і соловками.
Ти ще виболюєшся болем,
ти ще роздерта на шматки,
та вже, крута і непокірна,
ти випросталася для волі,
ти гнівом виросла. Тепер
не матимеш од нього спокою,
йому ж рости й рости, допоки
не упадуть тюремні двері.
І радісним буремним громом
спадають з неба блискавиці,
Тарасові провісні птиці —
слова шугають над Дніпром.

* * *

Сто лет, как покарали Сечь.
Сибирь. И соловецких келий
тоска, что продолжает жечь
как пламя адских подземелий.
Сто не сбывающихся снов,
и чаяний, и вер, и крови
сынов, что за любовь таврованы,
и сто сердец, как сто костров.
Но, вырастая из лаптей,
из шаровар, из курной хаты
рабы взрастут до сыновей
забытой Украины-матери.
Ты не погибла, ты двужильна,
земля, что под ярмом веками,
не покарать тебя душителям
сибирями и соловками.
Еще болеешь тяжкой болью,
разорванная на куски,
но ты крута и непокорна,
восстала для свободы ты,
ты гневом выросла. Теперь
не будет от него покоя,
ему ж расти, расти, доколе
тюремная не рухнет дверь.
И радостно ударит гром,
И воссияют, как зарницы,
Тарасовы вещуньи-птицы —
слова, что реют над Днепром.

* * *

Схилившись до багаття давніх спогадів,
на цій безмежній виглухлій розлуці,
де ані зір, ні місяця нема,
де навіть вітер не подме, я грію
пограбілі долоні, виглядаю
геть забарного досвітку. Дивлюсь,
перебираючи життєві чотки,
аби не провалитися у розпач
і не піддатись смертній самоті.
Сиджу, поклавши лікті на коліна,
поштурхуючи вугілля пригасле,
що бурхає, і блищить, й тремтить,
уяві непідвладне. Білий світе,
чи ти мені наснився ночі глупої,
чи я про тебе пам'ять приберіг
моїх далеких предків? Чи самотність —
така безмежно довга і жалка —
тебе створила із душі моєї,
стараючись про зими холоднеч?

* * *

І глянув я — і ось кінь білий,
і держить лука верхівець,
з сагайдака виймає стріли.
Вже начувайся — це кінець.
І вийшов другий кінь — червоний,
і хто на ньому — при мечі
за ним — і січі і полони
і кров і стогін і плачі.
І глянув я — і вороного
уздрів коня. Цей вершник був
з вагою у руці й надовго
на мене поглядом сягнув.
І глянув я — і ось кінь чалий,
і охляп смерть на нім сидить —
за нею пекло. Прокричала
прелюта звірів ненасить.

* * *

Припав к огню воспоминаний давних,
в бескрайней этой и глухой разлуке,
где нет ни звезд, ни месяца, где даже
и ветер не подует, согреваю
свои ладони стылые. Я жду
рассвет заснувший где-то, и смотрю,
перебирая жизнь свою, как четки,
чтоб в смертное отчаянье не впасть,
и боли одиночества не сдаться.
Сижу, упершись локтями в колени,
подпихивая гаснущие угли,
что полыхают, искрятся, дрожат,
непредсказуемо. О свет мой белый,
не ночью ли глухой ты мне приснился,
иль о тебе я память приберег
моих далеких предков? Или, может,
ты, в хлопотах о зимах прехолодных,
был создан одиночеством палящим,
безмерно долгим — из души моей?

* * *

Я посмотрел — и вот конь белый,
и держит лук в руке стрелец,
из колчана достал он стрелы.
Готовься, твой пришел конец.
Вот вышел конь другой — конь красный,
и всадник поднимает меч.
И плен за ним, и стон ужасный,
и головы слетают с плеч.
Коня узрел я вороного —
то третий всадник подъезжал,
держа в руке весы. Надолго
на мне свой взгляд он задержал.
Я посмотрел — и вот конь чалый.
На нем сидела смерть. За ней
ад простирался. И кричала
свирепость лютая зверей.

* * *

Це, припізніла молодосте, ти
спроваджуєш мене на горні кручі
Збираються над головою тучі,
відстрашливої повні ліпоти.
А я дерусь — з щовба на щовб — увись —
куди мої дороги простяглись,
куди мене веде вельможний порив,
не відаючи втоми, ні покори,
так, як було в забутому колись.
Це, припізніла молодосте, ти,
це я себе вертаю — скільки змоги,
зближаючись до древньої дороги,
де дерева чорніють, як хрести.

* * *

За мною Київ тягнеться у снах:
зелена глиця і темнава червінь
достиглих черешень. Не зрадьте нерви:
попереду — твій крах, твій крах, твій крах.
Лежить дорога — в вікових снігах,
і простори — горбаті і безкраї
подвигнуть розпач. О, мій рідний краю,
ти наче смертній посаг — в головах.
І сива мати мій куйовдить страх.
Рука її, кістлява, наче гілка
у намерзі. Лунає десь гагілка
і в сонці стежка. Й тупіт в степах.

* * *

Тебя я вспомнил, молодость, и ты
опять ведешь меня по горным кручам.
Над головой моей повисли тучи
пугающей, зловещей красоты.
Я рвусь — с вершины на вершину, ввысь —
туда мои дороги вознеслись —
моей души высокие порывы —
через завалы, скалы и обрывы,
ушедших лет громами отдались.
Ты, молодость, негаданная ты,
тебя к себе зову я. Но в итоге —
лишь приближаюсь к древней той дороге,
где замерли деревья, как кресты.

* * *

Все Киев снится мне в прекрасных снах:
цвет спелых, налитых черешен первых,
и зелень хвои. Выдержали б нервы:
ведь впереди — твой крах, твой крах, твой крах.
Лежит дорога — в вековых снегах,
горбятся дали и на сердце горько.
О, мой родимый край, остался только
приданым ты для смерти — в головах.
Седая мать мой навевает страх.
Рука ее сухая, словно ветка
замерзшая. Звучит веснянка где-то,
светлеет путь. И гул стоит в степях.

* * *

Отак живу: як мавпа серед мавп
чолом прогрішним із тавром зажури
все б'юся об тверді камінні мури,
як їхній раб, як раб, як ниций раб.
Повз мене ходять мавпи чередою,
у них хода поважна, нешвидка.
Сказитись легше, аніж буть собою,
бо ж ні зубила, ані молотка.
О Боже праведний, важка докука —
сліпорожденним розумом збагнуть:
ти в цьому світі — лиш кавалок муки,
отерплий і розріджений, мов ртуть.

* * *

Мені здається, що живу не я,
а інший хтось живе за мене в світі
в моїй подобі.
Ні очей, ні вух,
ні рук, ні ніг, ні рота. Очужілий
в своєму тілі. І, кавалок болю,
і, самозамкнений, у тьмущій тьмі завис.
Ти, народившись, виголів лишень,
а не приріс до тіла. Не дійшов
своєї плоті. Тільки перехожий
межисвітів, ворушишся на споді
чужого існування.
Сто ночей
попереду і сто ночей позаду,
а межі ними — лялечка німа:
розпечена, аж біла з самоболю,
як цятка пекла, лаконічний крик
усесвіту, маленький шротик сонця,
зчужілий і заблуканий у тілі.
Ти ждеш іще народження для себе,
а смерть ввійшла у тебе вже давно.

* * *

Как обезьяна в стае обезьян
живу, и грешным лбом с печатью грусти
о твердокаменные стены бьюсь я —
их грязный раб, общественный изъян.
Вокруг — лишь обезьяны, чередою
проходят важно, смотрят свысока.
Свихнуться легче мне, чем быть собою,
ну, ни зубила нет, ни молотка.
О Боже правый, тяжкая докука —
принять умом слепорожденным суть:
ты в этом мире — только сгусток муки,
замлевший и разжиженный, как ртуть.

* * *

Я словно вижу, что живу не я,
а тот, другой, с моим подобьем в мире.
Он не имеет
ни ушей, ни глаз,
ни рук, ни ног, ни рта. Как отчужденный
от тела своего. И, сгусток боли,
и, самозамкнутый, в кромешной тьме завис.
На свет родившись, оголел ты только,
не воплотился в тело. Не дозрел,
не превратился в плоть. И как прохожий,
меж двух светов, шевелишься с изнанки
чужого бытия.
Есть сто ночей,
что впереди и сто ночей прошедших,
а между ними — куколка немая:
раскалена, бела от самоболи,
как капля пекла, лаконичный крик
всемирный, малая дробинка солнца,
чужая и затерянная в теле.
Ты для себя еще рожденья ждешь,
а смерть вошла в тебя уже давно.

* * *

Пам'яті Алли Горської[1]

Заходить чорне сонце дня
і трудно серце колобродить.
При узголів'ї привид бродить.
Це сон, ява чи маячня?
Це ти. Це ти. Це справді ти —
пройшла вельможною ходою
і гнівно блиснула бровою.
Не вистояли ми. Прости.
Прости. Не вистояли ми,
мали для власного розп'яття.
Але не спосилай прокляття,
хто за державними дверми.
Свари. Але не спосилай
на нас клятьби, що знов Голгота
осквернена. Але и потай
по нас, по грішних не ридай.

* * *

Пам'яті Алли Горської[1]

Ярій, душе. Ярій, а не ридай.
У білій стужі сонце України.
А ти шукай — червону тінь калини
на чорних водах — тінь її шукай,
де горстка нас. Малесенька шопта
лише для молитов і сподівання.
Усім нам смерть судилася зарання,
бо калинова кров — така ж крута,
вона така ж терпка, як в наших жилах.
У сивій завірюсі голосінь
ці грона болю, що падуть в глибінь,
безсмертною бідою окошились.

[1] Вірш пам'яті художниці Алли Горської, по-звірячому вбитої при загадкових обставинах 1970 р.

* * *

Памяти Аллы Горской[1]

Потухла черная заря
и трудно сердце колобродит.
У изголовья призрак бродит.
Я сплю, а может — брежу я?
Ты здесь. Ты не могла уйти —
прошла так гордо между нами
и гневно повела бровями.
Не выстояли мы. Прости.
Прости, не выстояли мы,
малы для своего распятья.
Но все ж не посылай проклятья
тем, за державными дверьми.
Казни. А все ж не проклинай
и нас за то, что вновь Голгофа
осквернена. И в небе, там,
по грешным не рыдай, по нам.

* * *

Памяти Аллы Горской[1]

Пылай, душа. Пылай, а не рыдай.
В белесой стуже солнце Украины.
Ты тень ищи червонную калины,
на черных водах тень ее узнай,
здесь горстка нас, недолгий наш приют
лишь для молитв, надежд и ожиданий.
Нам смерти час назначен слишком ранний,
ведь сок калины красной так же крут,
как кровь терпка, что бьется в наших жилах.
В седой метели плачей, в той юдоли,
упавшие в глубины гроздья боли
бессмертье над бедою возложило.

[1] Стихотворение памяти художницы Аллы Горской, зверски убитой при загадочных обстоятельствах в 1970 г.

* * *

Ще й до жнив не дожив,
ані жита не жав,
не згубив, не лишив.
І не жив. І не жаль.
Тьмавих протобажань
заповітна межа:
ці напасті зі щастям
давно на ножах.
Безборонно любити
заказано край,
а зазнав би ти, світе
великий, добра.
В смерть задивлені очі.
Отерпла душа
і навчає, і врочить:
тобі кунтуша
вже довіку не мати,
а чорний бушлат —
він як батько, і мати,
і дружина, і брат.

* * *

О, скільки слів, неначе поторочі!
І всі повз мене, ніби кулі, б'ють
і всі живу мою минають суть,
а тільки строчать.
І я бреду — крізь ці слова облудні,
бо йде тут бій, бо тут — передова,
де всі твої бійці — одні слова.
Та сіють зраду спогади марудні...
Не ошукайся ж, вірячи добру
і не згубись у мук своїх огромі.
Спогадуючи, піддаєшся втомі,
хоч тільки-но стомлюся — і помру
і в помережані сховаюсь ночі,
де ні жалю, ні радощів не ймуть,
де не живуть, а смерть свою жують.
О, скільки слів, неначе поторочі!

* * *

И до жнив не дожил,
в поле жита не жал,
не терял, не хранил.
И не жил, и не жаль.
Смутных протожеланий
людская межа:
те напасти со счастьем
давно на ножах.
Беззапретно любить
мне заказано в край,
а узнал бы ты, мир
очень много добра.
Смертью полнятся очи.
Застывши душа
и вредит, и пророчит:
тебе кунтуша
не иметь уж довеку,
а черный бушлат —
он как мать, и отец,
как жена, и как брат.

* * *

О, сколько слов, как привидений ночи!
И все в меня, как будто пули, бьют,
и все ж мою они минуют суть,
а только строчат.
И я бреду под залпы слов фальшивых.
Идет война. Здесь на передовой
твои бойцы—слова вступают в бой.
Но не унять воспоминаний лживых...
Не обманись, уверовав добру,
не уходи в прошедшие страданья.
К усталости ведут воспоминанья,
лишь утомлюсь — сейчас же я умру,
и спрячусь в изукрашенные ночи,
где жалости и радостей не ждут,
и не живут, а смерть свою жуют.
О, как слова невыносимо строчат!

* * *

Ця п'єса почалася вже давно,
і лиш тепер збагнув я: то вистава,
де кожен, власну сутність загубивши,
і дивиться, і грає. Не живе.
Отож мені найщасливіша роль
дісталася в цій незнайомій п'єсі,
в якій я слова жодного не вчив
(сувора таємниця). Автор теж
лишається інкогніто. Актори
чи є чи ні — не знаю. Монолог?
Але без слів? Бо промовляють жести
непевні. Що то — сон ачи ява?
Чи химородні вигадки каббали?
Чи маячня і тільки?
Стежу оком
за тим, що наш глухонімий суфлер
показує на мигах. Не збагну я:
захочу стати — він накаже: йди,
а йти почну — примушує стояти,
у обрій декорований вдивляюсь —
велить склепити очі. Мружусь — він:
у світле майбуття своє вглядайся.
Сідаю — каже, встань. Отетерілий,
вирішую: найщасливіша роль
дісталась іншому комусь. Ти граєш
несповна розуму.
Й одразу входжу в роль,
загравши навпаки. Мені б сміятись —
я плачу. Груди розпирає гнів
(маленьке перебільшення: сновиди
навіки врівноважені в чуттях) —
а я радію. Рушив катафалк —
а я втішаюсь. Вилізши на повіз,
шаленствую: хай славиться життя.
Захоплений суфлер не сходить з дива
і тільки підбадьорює: віват.
Поскрипують стільці в порожній залі,
єдині глядачі цієї сцени,

* * *

Хотя спектакль и начался давно,
но лишь теперь я понял: это пьеса,
где каждый, сущность потеряв свою,
и смотрит и играет. Не живет.
Мне ж — самая счастливая судьба
досталась в этой незнакомой пьесе,
где слова не учил ни одного
(большая тайна). Автор пьесы также
останется инкогнито. Актеры
есть или нет — не знаю. Монолог?
Да, но без слов? Здесь говорят лишь жесты
возможные. Что это — сон иль явь?
Иль колдовская прихоть каббалы?
А может бред и только?
Наблюдаю
за тем, что наш глухонемой суфлер
передает на мигах. Не пойму я:
стоять хочу — он требует: иди,
ходить начну — приказывает стать,
высматриваю декораций дали —
велит закрыть глаза, а лишь зажмурюсь —
он: в будущее светлое смотри.
Сажусь — стоять прикажет. Как во сне я
решаю: роль счастливая твоя
не по тебе. Ведь ты ее играешь
не умно как-то.
Выход нахожу —
играть абсурдно. Нужно бы смеяться —
рыдаю я. Грудь распирает гнев
(приврал немного, ибо сновиденья
уравновешены навеки в чувствах)
я наслаждаюсь. Двинул катафалк —
ликую я, забравшись на повозку:
да здравствует и процветает жизнь.
Суфлер в восторге от такого дива
и только восхищается: виват.
Скрип стульев слышен по пустому залу,
как зрители единственные пьесы,

і мудро так вглядаються крізь мене
у порожнечу, видну тільки їм.
Так голова болить. І так нестерпно
прожекторна освітлює пітьма,
неначе тьмавий зал перетворився
на сніп вогню пекельного.
Суфлер
наказує нарешті зупинитись.
І я вганяюся з розгону в зал.
І все. Скінчилося. Вистава щезла.
Завіса впала. Я вже не актор —
глядач. А скільки покотом у залі
лежить живих мерців, старих акторів,
обпалених огнем шалених рамп.
І всі вони до мене простягають
осклілі руки:
— О, щасливий Йорику,
твій номер тут сто тридцять п'ять. По ньому
шукай подушку, ковдру і матрац,
і можеш спочивати, скільки хочеш.
Тут час стоїть. Тут роки не минають.
Бо тут життя — з обірваним кінцем,
як у виставі. Тільки є початок.
Кінця ж нема.
— Як ця вистава зветься?
— Щасливий Йорик.
— Тобто, я герой,
як кажуть заголовний?
— Був героєм,
тепер — скінчилося.
Ми теж колись б у л и.
— А що за п'єса?
— Варіант удатний
давно вже призабутого Шекспіра,
її створив славетний драматург.
— А як його на прізвище?
— Нема в нас прізвища.
— То як же так?
— Ім'я годиться тільки тим,
котрі існують.
— А ви?

они взирают мудро сквозь меня
на пустоту, что лишь для них понятна.
Так голова болит. Так нестерпимо
прожекторная освещает тьма,
как будто зала сумрак превратился
в снопы огня из пекла.
Тут суфлер
приказывает мне остановится.
И я с разгона выпадаю в зал.
Вмиг оборвалось все. Конец спектаклю.
Пал занавес. Уже я не актер —
я зритель. А вокруг лежит по залу
актеров старых ряд, как мертвецов —
опалены огнем безумным рамп.
И все ко мне протягивают руки
покрученные:
— О, счастливый Йорик,
по номеру сто тридцать пять ищи
подушку, одеяло и матрас,
и можешь почивать здесь — сколько хочешь.
Стоит здесь время. Годы не летят.
Ведь жизнь здесь — с недоигранным финалом,
как в пьесе, у которой есть начало,
но нет конца.
— Названье пьесы той?..
— Счастливый Йорик.
— То есть, я герой,
как говорят, заглавный?
— Был героем,
теперь — конец.
Здесь все когда-то б ы л и.
— А что за пьеса?
— Вариант удачный
давно уж призабытого Шекспира,
ее создал известный драматург.
— А как его по имени?
— Да незачем нам имя.
— Как это так?
— Оно ведь только существующим
пристало.
— А как же вы?

— Ми всі однаково щасливі!
— А Йорик — божевільний?
— Ні. Щасливий.
Щасливий? Так? А я кретина грав.
— То що тебе дивує? Хай кретин,
розумний, геніальний чи щасливий
або нещасний — то пусті слова,
що правлять для розрізнення та й тільки.
А тут немає родових одмін.
Бо кожен з нас — актор обо глядач
А це одне і те ж. Бо глядачеві
так само треба грати глядача,
І то — захопленого. А наймення
У нас нема свого. Нині — Йорик,
а завтра вже н і х т о. Чекай на роль,
якою і почнеш найменуватись,
допоки скону. Раз єдиний — Йорик,
а все життя — ніхто. Ні тобі виду,
ні імені. А грай чуже занудне
нашіптане життя — самі повтори.
Так живучи у ролі аж до смерті,
вивчай слова забуті: боротьба,
народ, любов, несамовитість, зрада,
порядність, чесність...
Так багато слів
ті предки повигадували. Боже —
життя на гріш, а так багато слів:
І всі вони чужі і незнайомі.
Скажімо, нас назвали будівничі,
а що то — будівничі — не питай.
— Ви щось будуете?
— А що то — будувати?
Так звуть вас — будівничі, от і вже.
А нам до того байдуже. Хіба
тобі не все одно, що справжній Йорик
був зовсім, може, і не Йорик. Навіть
напевне ні, раз так його зовуть.
Ти пам'ятаєш? Гамлетові в руки
попав лиш череп — ні очей, ні губ,
ні носа ані вух — зотлів геть чисто,
ось так, як ми. То можеш називатись

— Все счастливы мы равно!
— А Йорик — сумасшедший?
— Нет. Счастливый.
Неужто так? А я играл кретина.
— А что тебя смущает? Пусть кретин,
разумный, гениальный ли, счастливый,
или несчастный — это лишь слова,
чтоб указать различия и только.
А нам отличий родовых не нужно.
Любой здесь зритель он же и актер.
Одно и то же это. Ибо зритель
обязан также зрителя играть
восторженного. Все мы безымянны.
Здесь нет своих имен. Вчера ты — Йорик,
сейчас — н и к т о. Когда получишь роль,
тогда и будешь ею называться,
до смерти. Раз единственный — ты Йорик,
а остальную жизнь — никто. Безлико,
без имени живи. Играй чужую
нашептанную жизнь — одни повторы.
Так много слов,
что предки повыдумывали. Боже —
на грош той жизни, а так много слов.
И все неясные они, чужие.
Строителями, скажем, нас назвали,
а что это — строители — узнай.
— Что строите?
— А что такое — строить?
Так вас зовут — строители и все.
А нам до этого нет дела. Разве
тебе не все равно, что этот Йорик
был, может, вовсе и не Йорик. Даже
наверняка, раз так его зовут.
Припоминаешь? В Гамлетовы руки
попал лишь череп — нет ни глаз, ни губ,
ни носа, ни ушей — истлел вчистую,
вот так, как мы. Ты можешь называться

як заманеться. Тут усе одно:
герой, актор, глядач, суфлер і автор —
усі живуть одне чуже життя:
удень — вистава, все одна й та сама,
хоч завше невідома, бо ждання
то теж актор, що грає сподівання
І вміє виінакшувати світ.
А уночі — те ж саме. Лицедій
вже звик до спокою. Допіру смеркне —
ховається під ковдру, ніби равлик
у мушлю. Той, скажімо, бубонить
собі під ніс якісь уривки ролі
(озвучує мовчання й мертвий жест),
а той займеться реготом — відляск
летить в концертну яму. Третій спить,
четвертий плаче. П'ятий — втупить очі
у стелю — і мовчить, мовчить, мовчить.
Ще був один — молився. Скільки знаю —
він був із нас найстаршим, пережив
аж трьох суфлерів (їх життя коротке).
допоки не завісився. З нудьги,
подейкували наші лицедії,
хоча розмов про те і не було.
— Чому ж? — А що балакати? Даремне
плескати язиком. Ще хто почує
і донесе суфлерові. Бо ми
радіти зобов'язані до смерті.
Це перший наш обов'язок. Колись
був завітав до нас найголовніший
суфлер. Велику раду він зібрав
і слухав кожного. А ми стояли
і хором дякували. — Та жа що ж?
- Хіба я знаю? Наказали — от
і дякували. — Ну, а той? — Дивився
і розуму випитував у нас.
Хто радо радість грав — того наліво,
нерадо хто — направо йди. Бо грішник,
хто журиться. А праведний радіє.
Ото ж бо й є що так. І перегодом
понурих вивезли кудись. Казали,
до школи радості. Та досі жоден з них

как пожелаешь. Только все равно:
герой, актер, суфлер и даже автор,
и зритель — все чужую жизнь играют:
днем — постановка все одна и та же,
но без анонса, так как ожиданье —
тот же актер, играющий надежду.
Он знает как иначе строить мир.
И ночью будет так же. Лицедей
уже привык к покою. Лишь стемнеет —
он под ковер запрячется улиткой.
Тот, например, бубнит себе под нос
обрывки текстов (видно он озвучить
желает мертвый жест и тишину),
а тот зайдется смехом — так что слышен
в концертной яме отзвук. Третий спит,
четвертый плачет. Пятый — пялит очи
на потолок и все молчит, молчит.
Был тут один — молился. Сколько знаю —
он был из нас старейшим, пережил
аж трех суфлеров (век же их — короткий),
пока не удавился. От тоски,
передавали наши лицедеи,
хотя про это и молчали все
— Но почему же? — Что ж болтать? Напрасно
чесать язык. Еще услышит кто
и донесет суфлеру. Должно нам
быть радостными вплоть до самой смерти.
То первая обязанность у нас.
Однажды посетил нас самый главный
суфлер. И на большой совет собрав,
заслушал каждого. А мы стояли —
благодарили хором. — Да за что же?
— Почем я знаю? Так нам приказали —
мы и благодарили. — Ну а он?
— Смотрел и нашу радость проверял.
Кто радостно играл — того налево,
нерадостно — направо. Грешен тот,
кто загрустил. А праведен лишь тот,
кто радуется. Вот как. А попозже
понурых вывезли куда-то. Вроде
бы в школу радости, но ни один

не повернувся звідти. Ну, бувай,
бо завтра загадав мені суфлер
демонструвати щастя три години,
чотири — гнів, а решту дня — любов
і відданість. То треба й відпочити.
І вже залишений напризволяще,
я мізкував собі, що досить рух
єдиний одмінити — і тоді
вже не збагнеш кінця ані початку,
бо все переінакшується. Світ
тримається на випадкових рухах,
які його озвучують. Пітьма
навпомацки у кості грала. Глухо
постогнували сонні лицедії,
і оком Поліфема угорі
світив червоний місяць безязикий.
Я ждав чогось до ранку. Ніч? Життя?
Чи може, вічність проминула? Тільки
нарешті, увімкнули дня рубильник
і краном баштовим підняли сонце,
а на склепінні неба появило
двох лицедіїв, що співали дружно
за жайворонів. Із лабораторій
взяло росу на пробу. І вчепило
рекламний щит: “Ставай-но до роботи,
почався день”. До будки вліз суфлер,
і п’єса почалася, не скінчившись.

оттуда не вернулся. Ну, бывай.
С утра, по указанию суфлера,
играть я должен: счастье три часа,
четыре — гнев, остаток дня — любовь
и преданность. Так отдохнуть успеть бы.
Оставлен, наконец, без попечения,
я размышлял — достаточно движение
единое не сделать — и тогда
уже не разберешь конца с началом,
так все вокруг изменится. А мир —
весь на случайных держится движениях,
в их отзвуках живет. Уже стемнело.
Играла в кости тьма на ощупь. Глухо
постанывали сонные актеры,
и красным глазом Полифема сверху
следил за ними месяц безъязыкий.
Ждал до утра чего-то. Ночь ли? Жизнь?
А может, вечность пролетела? Только
включили наконец-то дня рубильник
и краном башенным подняли солнце,
а там, на небосводе, появились
два лицедея, что запели дружно
за жаворонков. Из лабораторий
несли росу на пробу. Прицепили
рекламный щит: “Вставай-ка на работу,
день начался”, и в будку влез суфлер.
И пьеса началась, хоть не кончалась

МАРКО БЕЗСМЕРТНИЙ

Напередодні всенародного свята,
покинувши могилу,
Марко виграбався на світ,
розрівняв землю,
щоб ніхто не помітив утечі,
зайшов до найближчого райкому партії,
вбрався в службовий одяг
(йому попалися червоні сап'янці,
сині шаровари з червоним поясом
і сорочка з вишиваною манишкою на всі груди).
Треба було чимось прикрити
свою голомозу голову,
але не було нічого підхожого,
довелося задовольнитися
шапкою з молодого оленя.
Тепер можна й відзначити
десятлітній ювілей своєї смерті.
І Марко, махнувши рукою,
вирішив проциндрити
частину заощаджених за десять років
партійних внесків:
у гастрономі купив пляшку Московської,
банку кильки в томатному соусі,
головку цибулі
і півбуханки житнього хліба.
Спорядивши сітку,
він повернувся на цвинтар,
випив, закусив
і, блаженно полежавши горілиць,
подався на урочистості.

Світ відзначав 100-літній ювілей
Володимира Ілліча Леніна.

МАРКО БЕЗССМЕРТНИЙ

Накануне всенародного праздника,
оставив могилу,
Марко выгребся на свет,
разровнял землю,
чтоб никто не заметил побега,
зашел в ближайший райком партии
и оделся в служебную одежду
(ему попались красные сафьяновые сапоги,
синие шаровары с красным поясом
и сорочка с вышитой манишкой на всю грудь).
Нужно было чем-нибудь прикрыть
свою плешивую голову,
но не было ничего подходящего,
пришлось удовольствоваться
пыжиковой шапкой.
Теперь можно и отметить
десятилетний юбилей своей смерти.
И Марко, махнув рукой,
решил пропить
часть сбереженных за десять лет
партийных взносов:
в гастрономе купил бутылку Московской,
банку кильки в томатном соусе,
головку лука
и полбуханки ржаного хлеба.
Наполнив сетку,
он вернулся на кладбище,
выпил, закусил
и, блаженно полежав навзничь,
подался на торжества.

Мир отмечал 100-летний юбилей
Владимира Ильича Ленина.

* * *

Не квиль, нічна душе! Даремні зойки.
І ти зажуро серця не труї.
Довкола світ — безгубий і безокий.
І в ньому дні. І в ньому сни мої.
Давно відгородився я від нього,
давно збагнув, що пруття заборон
кувалися благою дланню Бога,
і що твоє життя — велебний сон,
де тільки й того — мариться, верзеться,
сподіється і віриться. І вже.
А той, на небеси, — із нас сміється.
Він убиває, наче береже.

* * *

Напевне, так и треба —
судилося бо так:
упали зорі с неба
і надломили мак.
Така знялася хвища —
ні неба, ні землі,
лиш чорне кладовище
по нищеній ріллі.
Залопотіла злива,
мов залива — гай-гай!
Кохана, будь щаслива!
Коханий мій — бувай!

* * *

Не плачь, душа в ночи! Напрасны крики.
И ты, печаль, мне сердце не трави.
Ведь свет вокруг — слепо-немой, безликий.
Но в нем все дни. И в нем все сны мои.
Я от него давно отгородился,
давно я понял, как жесток закон,
что всеблагою дланью освятился,
и то, что жизнь твоя — блаженный сон.
В нем лишь — мечтать и грезить остается,
надеяться и верить. Только тот —
над нами, там на небеси смеется.
Он убивает, будто бережет.

* * *

Наверно это просто,
и нам судилось так:
упали с неба звезды
и надломили мак.
Надсадно ветер свищет,
темно, хоть глаз коли.
Лишь — черное кладбище
истерзанной земли...
Дождь — без конца и края
льет ливнем — ай-ай-ай!
Будь счастлива, родная!
Любимый мой — прощай!

(30 сентября 1972)[1]

[1] Только что Стус осужден на 5 лет лагерей строгого режима и 3 года ссылки.

* * *

Уже мене кудись поволокли
старанно, в кілька рук за ноги взявши,
мовляв, тобі кінець. То ж знай і наших:
зухвалу душу зіб'єм в околіт.
Куди й за що — того не знаю й сам,
лиш голова метляється одвисла,
червоне сонце каже віщі числа.
Тепер скорися, гордий, небесам.
Отам — твій день наступний. Там твій час
бажає довершитися. В дорозі
своїй страсній ти віру май у бозі,
котрий уже давно й забув за нас.

* * *

Червневий сніг — на безоглядній сопці,
модрини граціозні — де-не-де.
А ти в коробці, геть тісній коробці.
Душа ж — як дуб: нічого вже не жде.
Повзуть горби — неначе птероптахи,
Господні сфінкси, загадка буття.
Ти надто щедрий, Боже — стільки жаху
вергаєш на мале моє життя.
Потерпли руки. Спрагли в горлі крики,
а вседорога вужиться, як вуж.
Хрести модрин. І запропалі лики
і дріт колючий — замість харалуж.

* * *

Уже меня куда-то волокут,
руками цепкими за ноги взявши,
мол, больно смел, ну так узнаешь наших.
Допрыгался — теперь тебе капут.
Куда, за что — того не знаю сам,
лишь голова мотается без смысла.
Но солнце вещие назвало числа,
теперь покорствуй, гордый, небесам.
Вот там — твоя пора в твой день и час
закончится. И ты в страстной дороге
сумей не разочароваться в боге,
который уж давно забыл о нас.

* * *

Июньский снег — на неоглядной сопке,
как руки — ветви лиственниц — вразлет.
А ты в коробке, точно, ты — в коробке.
Душа ж — как дуб, и ничего не ждет.
Ползут горбы — как будто птероптахи,
Господни сфинксы, тайна бытия.
Ты слишком щедрый, Боже — столько страха
для моего припас ты жития.
Замлели руки. В горле ссохлись крики,
дорога-жизнь, как уж змеится в даль.
Кресты деревьев. Не от мира лики,
и ржавых проволок колючих сталь.

* * *

На схід, на схід, на схід, на схід,
на схід, на схід, на схід!
Зболіле серце, як болід,
в ночах лишає слід.
Тепер провидь у маячні:
десь Україна — там,
уся — в антоновім огні,
на докір всім світам.
До неї ти від неї йдеш,
в горбаті засвіти.
Цей обрій — наче чорний креш
гіркої-гіркоти.
До Неї ти від неї йдеш,
страсна до Неї путь —
та, на котрій і сам падеш,
и друзі — теж падуть.

* * *

Вже цілий місяць обживаю хату.
Що ж, мабуть, навикати вже пора.
Стілець і ліжко, вільних три квадрати
в віконці ґрати, у кутку — пара...
І щохвилини в вічко зазирає
іскрадлива, як кицька, сатана,
мов дірочку під серцем назначає...
Напевне, приписали до майна
тюремного уже й тебе самого —
всі сни твої, всі мрії, всі думки,
завівши до реєстру потайного
і зачинивши на міцні замки.

* * *

Восток, восток, восток горит,
чужой встает рассвет!
Больное сердце, как болид,
в ночах теряет след.
Теперь провидь в бреду, во сне:
что Украина — там
горит в антоновом огне,
упреком всем мирам.
Ты к ней идешь, хоть — на восток,
за край, где мир иной.
И горизонт — как ободок
на горькой чаше той.
Ты — к Ней, хоть от нее идешь,
узка дорога тут —
та, на которой ты падешь,
друзья твои падут.

* * *

Уж целый месяц обживаю хату.
Что ж, может, привыкать уже пора.
Стул и кровать, свободных три квадрата,
в окне решетка, а в углу — пара...
В глазок же поминутно наблюдает
подкравшийся, как кошка, сатана,
как дырочку под сердцем намечает...
Команда, видно, там ему дана
считать тебя имуществом тюремным,
не упускать ни слов твоих, ни снов,
все заносить в реестры непременно,
а запирать покрепче — на засов.

* * *

Дозволь мені сьогодні близько шостої
коли повечоріє надокола
і транспорт задвигтить в години пік,
я раптом з туги, з затканого неба,
із забуття, з безмежної розлуки,
од довгої надсади захмелілий,
на Брест-Литовський упаду проспект,
на ту четверту просіку зчужілу,
де лиш глушливий гуркіт автостради
мені повість, що серця лячне гупання
б'є з рідною землею в однотон.
З мурашника людського, з прірви років
я вирву пам'ять днів перезабутих,
що стали сном і журною явою,
мов рани, геть затягнуті рубцем.
Ти не перечиш, люба, не перечиш?
О не страхайся: між юрби людської
я пропаду, розтану, загублюся,
щоб ненароком лячний погляд твій
мені ножем у серце не ввігнався.
Тож не жахайся: я пройду, мов тінь.
В ту арку муки я ввійду, мов тінь.
Торкнусь крилом обламаним, губами
зголілими — аби краєчком уст
твоєї причаститися печалі —
тож не жахайся: я пройду, мов тінь.
І вже коли задуманим дівчатком,
що перед цілим світом завинило
дитинячою чистотою погляду
і немічністю власної цноти,
ти неквапливо із трамваю вийдеш
і перейдеш дорогу, щоб пірнути
в надзірних сосон коструватий смерк,

* * *

Позволь сегодня около шести,
когда падет на город шумный вечер,
в тот час, что называют часом пик,
я вдруг с тоски, из затканного неба,
из забытья, из нашей злой разлуки,
от долгого надрыва захмелевший,
на Брест-Литовский упаду проспект,
на просеку четвертую[1], былую,
где только гулкий рокот автострады
напомнит, что встревоженное сердце
с родной землею бьется в унисон.
Из толчеи людей, из лет ушедших
я вырву память дней почти забытых,
что стали сном и грустной явью стали,
как раны затянувшейся рубец.
Не против ты, любимая, не против?
О не пугайся: меж толпы народа
я пропаду, растаю, потеряюсь,
чтоб ненароком взгляд пугливый твой
меня, как нож под сердце, не ударил.
Так не страшись: ведь я пройду, как тень.
В ту арку муки я войду, как тень.
Коснусь крылом обломанным, губами
иссохшими — чтоб уголками уст
лишь причаститься мне твоей печали —
так не пугайся: я пройду, как тень.
И лишь когда задумчивой девчонкой,
что перед целым светом провинилась
по-детски ясной чистотою взгляда
и целомудрием своим бессильным,
не торопясь, ты выйдешь из трамвая
и, перейдя дорогу, погрузишься
в косматый сумрак сосен поднебесных,

[1] Окраина Киева, где жил Стус до ареста.

тоді пірву я серце за тобою,
обранившись по чагарях колючих,
пильнуючи твій слід, котрий од краю
душі моєї ліг на цілий світ.
Мов пес здичавілий, піду в твій крок,
ховаючи в ступнів твоїх заглибинах
свій сором, острах свій, свою образу
і радість, і жагу, і лютий біль.
Я буду тільки тінню тіні тіні,
спаду з лиця, із досвіду, із літ,
єдиним серця жилавим листочком
котитимусь під вітром власних бур.
Ось ґанок наш. Ти вже перед дверима.
Натисла на дзвінок — і легко так
важезну прочинила райську браму.
Озвався син наш. Крикнути б. Але
подати голосу — не стало сили.
...Урвався сон. Гойдалась на стіні
вздовж перетнута зашморгом дорога
до мого двору. І колючий дріт,
набряклий ніччю, бігав павуками
по вимерзлій стіні. Глухий плафон
розбовтував баланду ночі. Досвіт
над частоколом висів. Деручкий
дзвінок, мов корок, вибив з пляшки снива
нової днини твань...

Померти на дорозі повертання —
занадто солодко, аби Господь
нам не поклав у долі узголів'я.

тогда рванется сердце за тобою,
поранившись кустарником колючим,
твой путь отслеживая, что от края
души моей пролег на целый свет.
Как одичавший пес, пойду по следу
и спрячу в глубину следов твоих
свой стыд, свой страх, свою обиду, радость
и страсть горячую и злую боль.
Я буду только тенью тени тени,
лишусь и облика, и опыта, и лет,
одним лишь сердца жилистым листочком
я покачусь под ветром бурь своих.
Вот наш порог. Уже ты перед дверью.
Звонок нажала и легко открыла
многопудовые врата небес.
Сын отозвался наш. Позвать. Но только
мне голос не подать — не стало сил.
...Сон оборвался. На стене болталась,
вдоль перехвачена петлей, дорога
до дома моего, и пауками
колючей проволоки тени лезли
по вымерзшей стене. Глухой плафон
болтал баланду ночи. Сумрак утра
над частоколом спал. Звонок надрывный
как пробку выбил из бутылки сна
трясину дня пришедшего...

Смерть повстречать в пути желанном к дому —
наверно слишком сладко, чтоб Господь
нам положил ее у изголовья.

* * *

Навпроти — графіка гори
і сніг і чорні сланці,
о хоч на мить заговори,
чиї лежать тут бранці.
Там, за розпадком, за горбом,
блаженній паділ дикий,
чиїм розораний ребром,
чиїм продертий криком?
Танцюй на пеклі, навісний,
свої заллявши сліпи,
сюди приходять навесні
українські липи —
дрібненьким листям лопотять,
тонкі ламають руки
і мовчки до небес кричать,
і ловлять давні гуки.
О чорна графіка гори,
о мерзла кров пролита,
заговори, заговори,
повідж, кого тут скрито.
Яка священна таїна
про злочини бувалі!
Аж стягне темінь навісна
у виглухлім проваллі.

* * *

Напротив — графика горы
и снег, и сланца жилы.
Скажи, свидетель той поры,
чьих пленных здесь могилы?
Там, за распадком, за горбом
в краю блаженном, диком
чьим вспахана земля ребром,
чьим пропиталась криком?
Танцуй на пекле, ты, шальной,
хмельного зелья выпив.
Здесь просыпаются весной
как в Украине — липы,
листвою нежной гомонят
ломают ветви-руки,
и молча к небесам кричат,
впитав страданий звуки.
О злая графика горы,
земля, где кровь пролита,
ну не молчи, заговори,
поведай, где сокрыта
непокаянная вина
тех преступлений прежних!
Аж стоном стонет глубина
глухих провалов снежных.

* * *

Колимські конвалії — будьте для Валі,
достійтесь до Валі — рожеві огні.
Пробачте, у вас забагато печалі,
пробачте, красуні, ви надто сумні.
Моя чужаниця — то ваша, то рідна
земля, на якій ви, цнотливі, зросли,
на завтра хай видасться днина погідна
аби ми, нівроку, здорові були.
Бо завтра ми підем стрічати кохану
журливу журавку — таку ж, як і ви.
Про свято я іскру болгарську дістану
і викину клопоти всі з голови.

* * *

Між загород відшукуємо рай,
цвітуть кульбаби й бурштинові бджоли
геть впокоїли простір надокола,
що кращого у Бога й не питай.
Забудься сном несклеплених повік,
зануривши у пароч чекання,
де почезає зустріч і прощання
і бідам загубився довгий лік.
Впокоєний гойдається мишій,
мордовський вітер накликає хмари,
стань на межі віддячення і кари
і щастен будь, о в'язню молодий!

* * *

Конвалии[1] — ландыши — будьте для Вали,
для Вали — огнями колымской весны.
Простите, у вас слишком много печали,
Вы очень красивы, но очень грустны.
Чужбина моя — это ваша родная
земля, где вы, чистые, дружно росли,
на завтра я теплый денек загадаю,
мне только дождаться хватило бы сил.
Ведь завтра родную журавушку встречу,
печальную ладу, такую ж, как вы.
А праздник — я искрой болгарской отмечу,
и выкину хлопоты из головы.

* * *

За проволокой отыскался рай:
цветы и пчелы солнечного цвета,
покой и радость ласкового лета
послал Господь, иного — не желай.
Забудься, мысли задержи полет,
растаявши в дурмане ожиданья,
там, где исчезли встречи и прощанья,
и бедам потерялся долгий счет.
Мордовский ветер прошуршит травой,
пригонит тучи серою отарой...
Меж благодарностью восстань и карой
и счастлив будь, о узник молодой!

[1] Конвалии — ландыши по-украински.

* * *

Терпи, терпи — терпець тебе шліфує,
сталить твій дух, отож терпи, терпи.
Ніхто тебе в недолі не врятує,
але й не зіб'є з власної тропи.
На ній і стій — і стій — допоки скону,
допоки світу й сонця — стій і стій.
Хай шлях — до раю, пекла чи полону —
тримайся й далі розпачу й надій.
Торуй свій шлях — той, що твоїм назвався,
той, що обрав тебе, як побратим.
Для нього з малку ти заповідався,
сумним осердям, поглядом сумним.

* * *

Терпи, терпи — терпение шлифует,
калит твой дух, чтоб смог свой крест нести.
Хоть пред тобой недоля не спасует,
но и не сдвинет с твоего пути.
На нем и стой. До смерти. Неизменно.
Пока есть свет и солнце — стой и стой.
В пути до рая, ада или плена,
держись мечты отчаянной, святой.
Тори свой путь — тот, что твоим назвался,
призвав тебя, как побратим, с собой.
Ты с детства для него предназначался,
печальным взглядом, сердцем и судьбой.

* * *

Колючий посмерк повз, немов їжак,
і пахла над дротами синя глиця,
і місяць — самовбивця і відьмак,
навіяв снині: вечір цей святиться —
в твоїх пугких зажурених долонях,
що там лежать, при чорному столі,
а понад нами обережний сонях
жаріє в ніч і прискають жалі
з твоїх очей великих і настрашених,
мов лісові озера з досвіт-дня
в щоках округлих, тугою пригашених,
ловлю я тьмяну ямку навмання.
Це ти? Це ти? Це справді ти, кохана?
Я ще не загубився, не зблудив?
Сон сну шепоче, врочить напівп'яно,
ворожить і триножить гроно див,
котрі перевисають давні роки
мені до губ, у мій колючий сон.
Мовчу. Вслухаюсь. Сновигають кроки.
І чорна звістка. Розпач. І — прокльон.
І нарікання. Помолись за мене,
моя любове. Ось — мої вуста.
Бо я не можу. Хорий. І шалене
клекоче серце. Ти молись — свята.
Коли колючий посмерк наповзає
в вузьке і тоскне, мов сосна, вікно,
знай, що на молитви твої чекає,
той, кому думи вичути дано.
Прости мені. Пробач мені, хмарино
щоденних журб моїх, моїх сухих,
моїх ридань колючих. Люба, втри-но
моє чоло ріжечком хустки. Гріх
мені віддати цю твою зажуру
чужим очам. І не страшися. Вдвох
ми ще пробудем — вище цього муру,
на рівні снів, де зорі — мов горох
струмитимуть по лицях лебедині,
що розкрилила пружних два крила
і в беручке багаття батьківщини
мене, за руку взявши, повела.

* * *

Ежом колючим подползает мрак,
за проволокой хвоя серебрится,
самоубийца месяц, как ведьмак
навеял сон: пусть вечер тот святится —
в руках твоих испуганных, печальных
что на столе некрашеном лежат.
Подсолнух робкий, нас не замечая,
сияет в ночь. Твои уста молчат,
но брызжет жалость из очей взволнованных,
как двух лесных озер, тревожный взгляд.
Я на щеках твоих, тоской окованных,
ловил родную ямку наугад.
Любимая, скажи, здесь нет обмана?
Ведь это ты? И я не умер — жив?
Сон шепчет сну, колдует полупьяно,
наворожив, треножит гроздья див,
из дальних лет протягивает руки,
к моим губам, колючий этот сон.
Но в тишине шагов раздались звуки.
Весть черная. Проклятие и стон.
Упреки... За меня молись, родная,
и уст больных коснись, любовь моя.
Клокочет в сердце боль, но ты, святая,
одна молись. С тобой — не в силах я.
Когда колючий сумрак наползает
в печальное и узкое окно,
знай — тот твои молитвы ожидает,
кому и мысли ведать все дано.
Прости меня, прости меня, кровинка,
за каждодневных жалоб горький смех,
за плач колючий. Милая утри-ка
мой лоб углом твоей косынки. Грех
мне отдавать твою печаль, родная,
чужим глазам. И не страшись. Вдвоем
еще пребудем, выше стен взлетая,
в сиянье снов, и вместе уплывем,
на звездный свет царевны лебединой,
что подняла упругих два крыла
и на костер горящей Украины
меня, за руку взявши, повела.

* * *

На колимському морозі калина
зацвітає рудими слізьми.
Неосяжна осонцена днина,
і собором дзвінким Україна
написалась на мурах тюрми,
Безгоміння, безлюддя довкола,
тільки сонце і простір, і сніг,
і котилося куль-покотьолом
моє серце в ведмежий барліг.
І зголілі модрини кричали,
тонко олень писався в імлі,
і зійшлися кінці і начала
на оцій чужинецькій землі.

* * *

Моє життя, мій Києве, прощай!
Прости мені оцю тяжку розлуку
і до побачення! Подай же руку
і витиши мою смертельну муку,
і твердості в убоге серце дай.
Дай віри, Києве! Моє життя!
Білоколонний, ти наснився ніби,
як вітражів багатобарвні шиби,
і вже пішла дорога без пуття
кудись у прірву, в смертну чорноту,
де сонце ледь ворушиться на споді.
Та виростає у красі і вроді
крилатий птах і клякне на льоту.

* * *

Плачет цветом багряным калина —
обжигает мороз Колымы.
И под солнцем бескрайним картина —
звонкогласый собор, Украина —
мне явилась на стенах тюрьмы.
Так бесшумно, безлюдно в округе,
только солнце, пространство и снег.
Закатилось на обруче-круге
мое сердце в медвежий ночлег.
Плачи лиственниц голых звучали,
и прозрачный олень плыл во мгле,
и сомкнулись концы и начала
вот на этой, чужой мне земле.

* * *

Прощай, мой Киев — жизнь моя, прощай!
Прости мне эту тяжкую разлуку
и до свиданья! Протяни же руку,
безмерную мою уменьши муку,
и твердости больному сердцу дай.
О Киев! Прошепчи мне веры слово!
Белоколонный, ты приснился мне
цветным сияньем витражей в окне.
Пошла моя дорога бестолково
куда-то в прорву смерти, в черноту,
где солнце догорает на исходе.
Где вырастая в красоте, в свободе
вдруг стынет птица прямо на лету.

* * *

Уже моє життя в інвентарі
розбите і розписане по графах.
Це кондаки твої і тропарі,
це кара, це з отрутою карафа.
Над цей тюремний мур, над цю журу
і над Софіївську дзвіницю зносить
мене мій дух. Нехай-но і помру —
та він за мене відтонкоголосить
три тисячі пропащих вечорів,
три тисячі світанків, що зблудили,
як оленями йшли між чагарів
і мертвого мене не розбудили.

* * *

І клекотіли хвилі... Чорна ніч,
прогнута мегатонними зірками,
хилилася до теміні морської
і пахла водоростями й вином.
Уводноголову — ні рук, ні ніг —
тримався я на видовженій шиї,
іхтіозавр двадцятого століття,
і сонця-світу з пітьми виглядав
запаленим од вічного безсоння
і збожеволілої вкрай стихії
розкритим оком. Ось воно, життя,
де помінилися і твердь і небо,
діяння й сон, надія і печаль,
де цілий світ пішов до себе в сховок,
ось ти, надіє спраглої душі.
Агов — кричу, а видає — німую,
людове, люде, людськосте — агов.
І хвилі шамотять, і никне небо,
і раптом — небо Бог продер мечем.
Удар. Удар. Іще один. Удар —
ховай, нахарапуджений огромом,
заждалу шию в плечі. Заховай
багатогорлий крик в морській безодні.

* * *

Жизнь занесли мою в инвентари —
там в строчках и столбцах вся доля наша.
Вот кондаки твои и тропари,
как наказанье, как с отравой чаша.
Выводит по тюремному двору,
и над Софийской звонницей[1] возносит
меня мой дух. А если и помру —
то за меня он оттонкоголосит
три тысячи пропащих вечеров,
три тысячи рассветов, что забыли,
как шли оленями среди кустов,
и мертвого меня не разбудили.

* * *

Клокочущие волны... Ночь черна,
и звезды мегатонные прогнули
ее во тьму кромешную, что пахла
и травами морскими и вином.
Головотелый — нет ни рук, ни ног —
держался я на вытянутой шее,
ихтиозавр двадцатого столетья,
и солнце-свет высматривал из тьмы
бессонницею вечной воспаленным,
в стихии этой исступленной в край,
раскрытым оком. Вот существованье,
где изменились и земля и небо,
и явь и сон, надежда и печаль,
где целый свет укрылся в свой тайник,
вот ты, надежда жаждущей души.
Ау — кричу, взываю, но — ни звука,
эй, люди, человечество — ау.
И волны шелестят, и гнется небо,
его внезапно — Бог пробил мечом.
Удар. Удар. Еще один. Удар —
втяни заждавшуюся шею в плечи,
спрячь, испугавшись громовых раскатов,
стогорлый крик в морской бездонной толще.

[1] Колокольня Софийского собора в Киеве.

* * *

Оцей світанок — ніби рівний спалах
нічного парашута, що розкрився,
та, втративши тяжіння до землі,
завис над світом — наче передумав
і вирішив вернутися увись
(заломлена інерція бажання
геть вимертвила цей опуклий спалах
сліпого болю) — сизий голуб-досвіток
збудив мене своїм крилом страпатим
і снивом пригадалося — життя
...десь гавкав пес і видалося, наче
сувій століть помалу став згортатись
і на мезолітичному виткові
так довго полотна не попускав.
Летів розлого чорний-чорний ворон
обезземеленим безкраїм небом,
і безберегий лет його значився,
як апокаліпсису переддень.
І так здалося: предковічним мітом
не може вже душі переконати,
що однонапрямкова, як одвіку,
надій, погроз і часу течія.
Бо вже давно усе те пережите,
що довго крилося будучиною.
Майбутнє — все в минулому. Сьогодні
лиш візерунок мертвої душі.
І ще здалося — вдосвіта, наосліп:
що я себе утратив многотою
самопомноженого цього світу,
що світиться бінoклями страждань —
моїх любовей, товчених на скалки,
де кожна скалка круглиться, мов око
побожеволілого од нещастя,
що я згубився — сотнями відбитків
самосебезмертвілого в довірах
і нахиляннях до безодні світу,
котра гогоче тьмою, мов яскиня
неолітична: вабить і страшить.

* * *

Пришел рассвет — как медленная вспышка
ночного парашюта, что раскрылся,
но потеряв стремление к земле,
завис над светом — словно передумал
и вдруг решил вернуться снова ввысь
(изломанной инерцией желанья
умерщвлена та выпуклая вспышка
неясной боли) — голубь, вестник утра,
поднял меня своим крылом вихрастым
и вспомнилась, как сновиденье — жизнь.
...пролаял пес, и показалось будто
сворачивается столетий свиток
и на мезолитическом витке
так долго полотна не отпускает.
Летел привольно черный-черный ворон
обезземеленным, бескрайним небом,
кружил над миром, будто бы пророчил
он апокалипсиса страшный день.
И так казалось: вековечным мифом
не сможет душу переубедить,
однонаправленную, как от века,
надежд, угроз и времени теченье.
Ведь пережито все уже давно
что, думали, лишь в будущем случится.
Все в прошлом будущее. А сегодня —
то лишь узор смирившейся души.
Еще казалось — в темноте, вслепую:
что я себя утратил в многоликом,
самоперемножающемся мире,
что светится биноклями страданий —
страстей моих, толченых на осколки,
скруглен осколок каждый, словно око
безумного от этого несчастья,
что потерялся в сотнях отражений
самосебяубившего доверьем
и склонностью к той мрачной бездне мира,
которая гогочет тьмой пещерной
из неолита: манит и страшит.

Був досвіток. І засклена осліплим
підсиненим чорнилом спроневіри
небесна твердь мовчала, як отерпла,
лиш чорний-чорний ворон пролітав,
окреслював мезолітичні кола,
мов діри всесвіту.

* * *

Наснилося, з розлуки наверзлося,
тепер збагни — де сон, а де ява!
Снігами тіла слалося волосся,
ромашкою біліла голова.
І так пливли ми — без човна, без весел
лиш колотилась полохко вода.
— Чого ж бо ти смутна?
— А ти, мой, чом невесел?
І хмари йшли — як марних літ орда.

* * *

Невже ти народився, чоловіче,
щоб зазирати в келію мою?
Невже т в о є життя тебе не кличе?
Чи ти спізнав життєву путь свою
на цій безрадісній сумній роботі,
де все людською мукою взялось?
Ти все стоїш в моїй тяжкій скорботі,
твоїм нещастям серце пойнялось
моє недужне. Ти ж — за мене вдвоє
нещасніший. Я — сам. А ти — лиш тінь.
Я є добро, а ти — труха і тлінь,
а спільне в нас — що в'язні ми обоє
дверей обабоки. Ти — там, я — тут.
Нас порізнили мури, як статут.

Час предрассветный. Застеклен ослепшим
подсиненным чернилом недоверья
небесный свод молчал, как онемевший,
лишь черный-черный ворон выводил,
мезолитических кругов рисунок,
как дыры космоса.

* * *

Во сне печаль разлуки налетела,
иль наяву пригрезились слова?
Стелились волосы снегами тела,
ромашкою белела голова.
И так — без весел, без челна мы плыли,
плескалась осторожная вода.
— Что ж ты грустна?
— Что ж ты невесел, милый?
И тучи шли — пропащих лет орда.

* * *

Неужто, человече, ты родился
чтоб в келию заглядывать мою?
Неужто путь другой тебе не снился,
и ты познал земную суть свою
на мрачной и безрадостной работе,
где все покрыто мукою людской?
Вот ты передо мной — в моей заботе,
твое несчастье проняло тоской
мое больное сердце. Ты же вдвое
несчастней. Здесь один я. Ты — лишь тень.
Я есть добро, а ты труха и тлень.
И общее у нас с тобой такое:
мы оба под замком. Ты — там, я — тут.
Лишь стены разделили наш статут.

* * *

Вже котрий це до тебе лист —
не знаю.
Я пишу і пишу, не наважуся відіслати.
І лягають літери на папір,
мов сніг землю мережить,
щоб небо
прояснiло до ранку.
Не боронь мені — чуєш? —
Не боронь мені втіху таку —
зрідка писати листи,
розмовляти й радитися з тобою.
Повір — я не буду надокучати.

*

Нам не бачитись більше?
Я це чула: щось обірвалось,
так, як з канату
обривається альпініст —
головою вниз, у провалля,
я це чула (передчуваємо
завжди втрату),
так, як чують
наближення материнства.

*

У нас тепер провесна в селищі —
десь гавкає песик —
методично, немов коваль
маленьким молоточком вистукує,
проревів, пронісся, мов мотоцикл,
ревом підперезавши вулицю,
реактивний літак.
Півні, мов лезом,
морозне повітря прорізують,
а від шахти чути гудіння
вентиляційних моторів.

* * *

Какое это уже письмо к тебе —
не знаю.
Я пишу и пишу, не решусь отослать.
И ложатся буквы на бумагу,
будто снег землю вышивает,
чтобы небо
прояснилось до утра.
Не запрещай мне — слышишь? —
Не запрещай мне такую радость —
изредка писать письма,
говорить и советоваться с тобою.
Поверь — я не буду надоедать.

*

Нам не видеться больше?
Я это чувствовала: что-то оборвалось,
так, как с каната
срывается альпинист —
головою вниз, в пропасть,
я это чувствовала (всегда
предчувствуем утрату),
так, как чувствуют
приближение материнства.

*

У нас теперь совсем весна в поселке —
где-то лает собачонка —
методично, как кузнец
выстукивает маленьким молоточком,
проревел, пронесся, как мотоцикл,
ревом перепоясав улицу,
реактивный самолет.
Петухи, как лезвием,
морозный воздух прорезают,
а от шахты слышно гудение
вентиляционных моторов.

*

Нині в лісі блукала,
наслухаючи світ,
і на стежці,
котрою колись ми з тобою бродили,
наслухала забуті звуки
твого голосу.
Там усе, як бувало,
тільки тебе... пробач —
ти уже спохмурнів? Не треба,
я більше ні слова. Пробач.

*

Весна йде несміливо.
У лісі ледь перші проліски
зойком вибухнули з-під снігу.
Ми тут часто збирали їх
разом.
Ти ще пам'ятаєш? Даруй.

*

Лише голубою стрічкою
накручувалась дорога,
повільно і важко
лягала, мов дріт
на плечі електромонтера.
Снувалися кроки,
соталась стежа нескінченна
і все нескінченне
соталося, ніби стежа.

*

З гармошкою хлопці пройшли,
горлаючи пісню веселу,
сьогодні — свято, й вони
трішечки напідпитку.
Пройшли — протягли за собою
пісню нескладну.

*

Навіть весни бувають печальні.
О повечірня потомо!

*

Сегодня по лесу блуждала,
вслушиваясь в мир,
и на тропинке,
которой когда-то мы с тобой бродили,
услышала забытые звуки
твоего голоса.
Там все, как бывало,
только тебя... прости —
ты уж нахмурился? Не надо,
я больше ни слова. Прости

*

Весна идет несмело.
В лесу едва еще первоцветы
призывно выбились из-под снега.
Мы тут часто собирали их
вместе.
Ты еще помнишь? Извини.

*

Как голубою лентой
накручивалась дорога,
медленно и тяжело
ложилась, как проволока
на плечи электромонтера.
Сновали шаги,
накручивалась стежка бесконечная
и все бесконечное
наматывалось, как стежка.

*

С гармошкою парни прошли,
горланя веселую песню,
сегодня праздник, и они —
слегка подвыпивши.
Прошли — протянули за собою
нескладную песню.

*

Даже весны бывают печальные.
О вечерняя усталость!

А стомлені люди —
мовчать і мовчать — самотні
спогадують.

*

Цілий день я сиділа в комісії виборчій,
пізнавала, як ти
любив пізнавати людей
по очах, по устах, підборіддю,
розрізняючи їх, мов курчат,
на тих, що вилуплені з яйця,
і тих,
котрим материнський панцир повік не розбити.

*

Я думала: свого єства
самотній ніколи не взнає.
Один — тільки частка себе,
засушене зерня.

*

А люди проходили,
зашкарублими з холоду пальцями
тримаючи обережно бюлетні,
і кидали в урну
і йшли, і зникали. І я
дивилася їм услід.

*

Тиха ніч, і місячно-місячно.
Ти, певне, й досі не спиш?
В такі ночі не можна спати,
гріх!
(Не бійся: для тебе є
денна покута).

*

Я вчора дістала збірку
Андрія Вознесенського,
читала і перечитувала
“Осінь у Сігулді”,
і думала: для розлуки
осені не чекають.

А утомленные люди —
молчат и молчат — одинокие,
вспоминают.

*

Целый день я сидела в избирательной комиссии,
распознавала, как ты
любил распознавать людей
по глазам, по губам, подбородку,
разрознивая их, как цыплят,
на тех, кто вылупился из яйца,
и тех,
которым материнский панцирь вовек не разбить.

*

Я думала: своей сути
одинокий никогда не изведает.
Один — ты только частица себя,
зерно засушенное.

*

А люди проходили,
загрубевшими от холода пальцами
бережно держа бюллетени,
и бросали в урну
и уходили, и исчезали. И я
смотрела им вслед.

*

Тихая ночь, и месячно-месячно.
Ты, наверно, и до сих пор не спишь?
В такие ночи нельзя спать,
грех!
(Не бойся: для тебя есть
дневное покаяние).

*

Я вчера достала сборник
Андрея Вознесенского,
читала и перечитывала
“Осень в Сигулде”,
и думала: для разлуки
осени не ждут.

Чи ж є для розлуки строки? —
провесна і прощання.

*

Пригадалися роси ранні,
пісня Романова,
і тінями Елізіуму
стали спогади, як ножі,
неначе бреду босоніж
і ноги проколюю,
та немає стерні
і пісні нема Романа.

*

Ось і ранок
білий, як божевілля,
Я не знаю,
що робити з оцим листом.
Ти дозволь мені, рідний,
відіслати його.
Страшно вранці
з зорею руки заломлювати.

* * *

Так тонко-тонко сни мене вели
повз кучугури й урвища — додому,
туди, назустріч горю молодому,
де в кілька вод мої жалі текли
устами матері, дружини й сина.
Знялась моя жалоба до небес,
бо замість дому був дубовий хрест
так грубо струганий. І в ту хвилину
я був збагнув: ховається життя
за смерті паравани ажурові,
що, люблячи, ми з люблячого крові
річками точимо. Аби знаття,
я б свого серця не віддав нікому
і не стирав би марне постоли.
Так тонко-тонко сни мене вели
повз кучугури й урвища — додому.

Есть ли для разлуки сроки? —
весна и прощание.

*

Вспомнились росы ранние,
Романова песня,
и тенями Элизиума
стали воспоминания, как ножи,
будто бреду босоного
и ноги прокалываю,
но нет стерни
и песни нет Романовой.

*

Вот и утро
белое, как безумие,
я не знаю,
что делать с этим вот письмом.
Ты позволь мне, родной,
послать его.
Страшно утром
с зарею руки заламывать.

* * *

Так тонко-тонко сны меня вели
через холмы и крутояры к дому,
туда, навстречу горю молодому,
где много дней потоками текли
из уст жены и матери и сына
мольбы по мне, взлетая до небес.
Но вместо дома был дубовый крест
так грубо строганный. И в ту годину
я понял вдруг — умеет жизнь скрывать
себя за смерти ширмою нарядной,
и что, любя, из любящих нещадно
мы реки крови льем. О, если б знать,
то я б не тратил сердца по-пустому,
и не плутал проселками, в пыли...
Так тонко-тонко сны меня вели
через холмы и крутояры к дому.

* * *

І заступила геть мене робота,
і вибрала весь порив молодий,
і цілий всесвіт вималів до столу
письмового, паперу і пера.
Стоять книжки — твоя повинність чорна,
що не винагороджує, а мстить
за відданість. Покаро існування,
конвульсіє любові, гріх добра,
поезіє моя, прости мене
і знай: я жити прагнув од дитинства —
косити сіно чи садити сад,
копати картоплі чи прокидати
од хати сніг, під зорями нічними
самотньому блукати, щоб себе
до себе повертати — між землею
і небом. А не зміг. Прости мене,
поезіє, розлучнице-ворожко.

* * *

Как будто в плен взяла меня работа,
весь вобрала порыв мой молодой,
и мир бескрайний сжался до размера
стола, бумаги писчей и пера.
Вот книги — тяжкая твоя повинность,
она не награждает, только мстит
за верность. Тяжкий крест существованья,
конвульсия любви, и грех добра —
поэзия моя, прости меня,
ведь с детства — так хотелось жить мне:
косить траву, в саду сажать деревья,
копать картошку или возле хаты
сугробы расчищать иль одиноко
бродить под звездным небом, чтоб себя
к себе вернуть обратно — меж землею
и небом. А не смог. Прости меня,
поэзия, разлучница-колдунья.

* * *

Ці сосни, вбрані в синій-синій іній,
на взгір'я збіглі і завмерлі, мерехтом —
чи то цвинтарним ачи межисвітнім —
мені відкрили візерунки душ:
омиті потойбічною водою,
у сяйві тамземних просвітлих весен,
у білій білоті недосягання —
вони стоять в короні сніговій.
І світ — далекий — за малою тінню
миттєвих роздоріж — посиротіє
од холоду розлуки, і од стужі,
і од навічних сліпосяйних щасть.
Узорені, роздумані, прозорі,
піднесені, знімілі, кришталеві,
немов одне високе чудування
невговтаних, життя жадібних душ!
Отак — відсторонитися і жити,
світ чарувати поглядом осклілим.
Яка недоторканна ця пишнота
і всепрощення добрих всеочей!
Мені за березневі є дари —
оця богорожденність, стала святість
оце світіння полохких світань
світів жертовних, що мене запалює
всенепогасним і ламким, як крига,
огнем співучих надторосів — криг.

* * *

Убравшись в иней синий-синий, сосны,
взбежав на взгорье, замерли. Мерцаньем
погостным, даже, может быть, — межсветным
они открыли мне узоры душ:
омытые нездешнею водою,
в сиянье неземных блаженных весен,
в недостижимо белой белизне —
они стоят в короне снеговой.
И свет — далекий — там, за легкой тенью
мелькнувших перепутий — сиротеет
от холода разлуки, и от стужи,
от ослепляющих извечных счастий.
Узорчаты, задумчивы, прозрачны,
в торжественном молчании хрустальном —
одно возвышенное изумленье
не утоленных, к жизни жадных душ!
Вот так бы отстранившимся и жить,
чаруя свет своим недвижным взглядом.
Какая царственная эта роскошь
и всепрощенье добрых всеочей!
И каждою весною — мне дары:
богорожденность эта, святость вечная,
свет этот робкий трепетных рассветов
средь жертвенных миров, что зажигает
меня нетленным, ломким, будто лед,
огнем певучих сверхторосов — льдин.

* * *

Яке жорстоке ти, пізнання
дороги трачених доріг.
Хай увірвалось існування.
Хай дух притомлений знеміг.
Хай видива подаленіли
на чорній, як смола, воді.
Та ми жили, немов любили,
і вік пробудем молоді.

* * *

Тюремних вечорів смертельні алкоголі,
тюремних досвітків сліпа, як близна, ртуть,
а сто мерців, круг серця сівши, ждуть
моєї смерті, а своєї волі.
І день при дні глевтяники жують,
аби не вмерти і аби не жити,
а в пам'яті імчать несамовиті
минулі дні — дихнути не дають.

* * *

Задосить. Приостань. І жди кінця.
Великий світ замкнувся над тобою.
Прощайся — з молодечою жагою
і втраченого не шукай лиця.
Задосить. Приостань. Упився гроз?
Від правіків на всевіки упився?
Муаром хмар смертельно позначився,
зісклілу душу видубив мороз.
Тепер — задосить. Жди і жди і жди.
Благословенного, мов день, смеркання.
Ти — ген на белебні. Ти — ген за гранню
утраченої зопалу біди.

* * *

О, как жестоко ты, познанье
пути утраченных дорог.
Пусть кончилось существованье,
пусть дух усталый изнемог.
Пускай надежды отпарили.
И так же горек отчий дым.
Но мы ведь жили — как любили,
и век наш будет — молодым.

* * *

Смертельные ночей тюремных алкоголи,
слепая ртуть рассветов — так мне душу жгут!
Сто мертвецов, вкруг сердца севши, ждут —
когда умру, их отпустив на волю.
И день за днем раскисший хлеб жуют,
чтоб и не умереть, и чтоб — не жить им.
А память все влечет ко дням забытым,
к тем лютым, что дыхнуть мне не дают.

* * *

Уже — с лихвою... Стой. И жди конца.
Огромный мир замкнулся над тобою.
Прощайся же со страстью молодою.
Потерянного не ищи лица.
Вкусил с лихвой. Постой. Упился гроз?
От пра-веков на все века упился?
Муаром смертным черных туч покрылся,
больную душу выдубил мороз.
Теперь — довольно. Жди и жди и жди.
Блаженного ночного увяданья.
Ты — над землею. Ты уже — за гранью
там сгоряча утраченной беды.

ВЕРТЕП

На першому поверсі — двоє людей
на другому — їхні тіні.
Вправний оператор
так освітлює кадр,
що й не добереш,
де люди, а де лиш тіні.

Внизу проказують: нам з тобою
жити в любові й радості.
Вгорі повторюють: мав би ніж —
зарізав би як собаку.
Потім на кін виходить
хтось третій
і починає агітувати за рай,
що росте й росте
все вище й вище.

Сніп світла зноситься
в порожню небесну твердь,
де чути янгольські співи:
“одним кипіти в маслі,
а другим у смолі”.

Нарешті починаються танці:
на авансцену вискакує чорт
і починає обертатися.
Раз він стає на ноги,
Вдруге — на руки,
доти перевертається,
поки руки не приростають до землі,
а ноги зависають в повітрі.
І тоді стає помітно,
що обертається, власне,
тільки тулуб.

ВЕРТЕП

На первом этаже — двое людей,
на втором — их тени.
Дошлый оператор
так подсвечивает кадр,
что и не разберешь,
где люди, а где лишь тени.

Внизу возглашают: нам с тобой
жить в любви и радости.
Вверху вторят: имел бы нож —
зарезал бы как собаку.
Потом на эстраду выходит
кто-то третий
и начинает агитировать за рай,
который растет и растет
все выше и выше.

Сноп света вздымается
в пустую небесную твердь,
где слышно ангельское пение:
“одним кипеть в масле,
а другим в смоле”.

И вот начинаются танцы:
на авансцену выскакивает черт
и начинает вертеться.
Раз он встает на ноги,
другой — на руки,
переворачивается до тех пор,
пока руки не прирастают к земле,
а ноги зависают в воздухе.
И тогда становится заметно,
что вращается, собственно,
только туловище.

СПОГАД

Вечір. Падає напруго
сонце. Обрій ошкірений
наколовся на шпичаки
дальніх сосон.
Спокій. Понад узгір'ям гроз
легіт — щойно зведе крильми
і застигне. Пам'яттю вражений,
пригадаю:
Темінь. Вишні під місяцем
дрібно тремтять. Свічка розкошлана,
а троянди пуклі серця
б'ють на сполох.
Ось ви, полиски щасть моїх!
Ось ти, щемна поро прозрінь!
Будь же, мите, на віддалі
і не ближся!

* * *

Круто круча росла,
піднімалась до самого неба.
Глухо бився об берег
і ремствував древній Дніпро.
І оралися хмари об кручу
і падали неводом
в чорну воду — в негоду —
прибиті обважненим громом.

ВОСПОМИНАНИЕ

Вечер. Закатное солнце.
Оскалившийся горизонт
накололся на острия
дальних сосен.
Тишь. Над взгорьем — ветерок гроз,
только чуть поднимет крылья —
и замрет. Памятью растревожен,
вдруг припомню:
Темень. Вишни под месяцем
мелко дрожат. Свечка отекшая.
А розы сердца, раскрывшись
бьют тревогу.
Вот вы — блики счастий моих,
пора щемящих прозрений!
Будь же, миф, в отдалении,
и не близься!

* * *

Круто круча росла,
поднималась до самого неба.
Били в берег и плакали
воды седого Днепра.
Облака разрезались о кручу
и падали неводом
в темень вод — в непогоду —
покорные тяжким громам.

АНАЛІТИЧНЕ

Злий дар говорити в риму —
успадкований, як інстинкт.
У прадіда римувались кроки,
його рекрутський строк —
двадцять п'ять років —
возведений у квадрат омонім
анімістичних рим.
Дід Дем'ян, добрий боднар, кадовби
римував. З обручем обруч.
Хату — з корчмою.
Жінку — з долею розпроклятою.
Радість алітерувалася з квартою
(коли брано в борг).
А віддавен —
римувались шаблі,
ступні, ранки і ріллі,
римувалися шарварки,
смерті й народини,
поминки й весілля.
До тисяча дев'ятсот тридцять восьмого року.
не лишилось жодної свіжої рими.
І довелося — говорити пошепки.

* * *

Від березня до вересня — життя.
Шаліє сонце і вода вирує,
І памолодь голубувате врунться
І рветься в небо — молодо й звитяжно.
Скриплять бори, вантажені вітрами.
Шляхи куріють, даленіє степ,
І покоління, мов трава, росте
Полями, оболонями, ярами.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ

Злой дар говорить в рифму —
унаследован, как инстинкт.
У прадеда рифмовались шаги,
его рекрутский срок —
двадцать пять лет —
возведенный в квадрат омоним
анимистических рифм.
Дед Демьян, добрый бондарь, дежки
рифмовал. С обручем обруч.
Хату — с корчмой.
Жену — с долей распроклятой.
Радость аллитеровалась с «четвертью»
(взятой в долг).
А исстари —
рифмовались сабли,
ступени, рассветы и пашни,
рифмовался подневольный труд,
смерти и рождения,
поминки и свадьбы.
До тысяча девятьсот тридцать восьмого года[1]
не осталось ни одной свежей рифмы.
И пришлось — говорить шепотом.

* * *

От марта жизнь кипит — до сентября.
Шалеет солнце и вода клокочет,
И прорастают голубые всходы
И рвутся в небо — молодо, победно.
Скрипят боры, напруженные ветром.
В степи далекой пыль дорог курится,
И поколенье, как трава, растет
Полями, луговинами, ярами.

[1] Год рождения В. Стуса.

* * *

Мені зоря сіяла нині вранці,
устромлена в вікно. І благодать —
така ясна лягла мені на душу
сумирену, що я збагнув блаженно:
ота зоря — то тільки скалок болю,
що вічністю протятий, мов огнем.
Ота зоря — вістунка твого шляху,
хреста і долі — ніби вічна мати,
вивищена до неба (від землі
на відстань справедливості), прощає
тобі хвилину розпачу, дає
наснагу віри, що далекий всесвіт
почув твій тьмяний клич, але озвався
прихованим бажанням співчуття
та іскрою високої незгоди:
бо жити — то не є долання рубежів,
а навикання і самособою-
наповнення.
Лиш мати — вміє жити,
аби світитися, немов зоря.

* * *

Всі райдуги відмайоріли,
лишився довгий сірий шлях.
Відгасли всі вогні, що гріли
мене по самітних ночах.
І порожнеча скрижаніла,
і скрижаніла німота,
і вся душа, на дуб здубіла,
і плоть, мов знята із хреста.
Ще, оглашенний, накликаю.
Ще, начуванний, чую глас:
— Це спит. Я спитом вивіряю.
— Мій Божечку, забуди нас!

* * *

Звезда сияла мне сегодня утром
окно пронзив. А с нею благодать,
такая ясная, вошла мне в душу
смиренную... И я постиг блаженно:
что та звезда — осколок давней боли,
он вечностью пропитан, как огнем.
Горит звезда — как вестница пути,
и доли, и креста — как будто матерь
предвечная, возвышенная в небо
(в пространство справедливости), прощает
тебе момент отчаянья, дает
надежду веры, что далекий космос
твой слабый зов услышав, отозвался
желанием сочувствия сокрытым
и несогласья высшего огнем:
ведь жизнь — не одоленье рубежей,
но привыкание и наполненье
самим собою.
Мать одна умеет
жить и светить, как в небесах звезда.

* * *

Всех радуг краски отгорели,
остался долгий серый шлях.
Остыли те огни, что грели
забытого меня в ночах.
И пустота заледенела,
заледенела немота,
душа ж вся дубом задубела,
и плоть — как снятая с креста.
Но, оглашенный, я взываю,
и, вслушиваясь, — слышу глас:
— Я испытую. Выверяю.
— Мой Господи, забуди нас!

* * *

Посадити деревце —
залишити про себе найкращу пам'ять.
І вони стали висаджувати вздовж колючого дроту
квіти, кущі, дерева.
Дикий виноград обснував гострі шпичаки,
розвісив лапате листя
і навіть попускав синюваті грони,
повився повій,
трублячи в поблідлі сурми ніжності.
Коло горожі порозпускались такі півники, півонії, жоржини,
що заберуть очі і не повернуть.
Начальство, перевіряючи, як вони виконують взяті соцзобов'язання,
завжди ставило проти графи
"заходи по естетичному вихованню ув'язнених":
ведеться на високому ідейно-політичному рівні.
Одні тільки підписи високого начальства
їм нагадували забуті шпичаки дроту.

* * *

На тій сліпучій висоті,
де тільки сніг і сніг і сяйво
небес осліплих. Там, де небо
не попускається на діл,
а все живе росте горою
і прагне вийти понад край
душі, те все, що прагне висі,
життя цураючись, умить
мені запало в душу. Світ
легенько деренчить розбитим
блакитним дзбаном порцеляну.
Як сяйво болісно щемить!

* * *

Посадить деревце —
оставить по себе наилучшую память.
И они стали высаживать вдоль колючей проволоки
цветы, кусты, деревья.
Дикий виноград обвил острые шипы,
распустил разлапистые листья
и даже свешивал синеватые гроздья;
вился вьюнок,
трубя в бледные трубы нежности.
Около ограды порасцветали такие ирисы, пионы, георгины,
что глаз не отвести.
Начальство, проверяя, как они выполняют взятые соцобязательства,
всегда ставило против графы
“мероприятия по эстетическому воспитанию заключенных”:
ведется на высоком идейно-политическом уровне.
Только подписи высокого начальства одни
напоминали им забытые колючки проволоки.

* * *

На той разящей высоте,
где снег и белое сиянье
небес ослепших. Там, где небо
не опускается на дол,
а все живое воздымаясь
стремится вырваться за край
души, все то, что жаждет выси,
чураясь жизни, в миг один
запало в душу мне. А свет
тихонько дребезжит разбитым
фарфоровым лазурным жбаном.
Как больно свет небес щемит!

* * *

Вже тридцять літ — немов карбів на дереві,
немов на тілі шрамів. Тридцять літ —
оце піввіку вже. Найкращих років.
І ні чорта. Життя не починалось.
Хіба що так: Поділля, ранок, сад,
старезна клуня. На межі — петрушка
та благовісні монастирські дзвони
гудуть і холоду до ранку додають.
І я малий. Ні батька, ані матері.
А є бабуся. Ув обід — куліш.
Надвечір — тепла грушка — хтось бабусі
буває подарує, а вона
онуці й принесе. А як достигнуть
червоні яблука (їх циганками звуть),
то стільки маю радості!..
А потім —
громи, осколки, повна хата люду,
джергочуть не по-нашому. Буває,
цукерку подарують. А бабуся
мовчить: цукерки не бери,
бо лаятиме: Не про нас цукерки.
Цукерок я тобі не накуплюсь.

* * *

Ну, вот и тридцать. Как рубцов на дереве,
иль — как на теле шрамов. Эти годы —
уже полвека жизни. Лучших лет.
И ни черта. Жизнь и не начиналась.
Вот разве так: Подолье, утро, сад,
кривая рига. На меже — петрушка,
и благовестный монастырский звон,
он будто холода добавил утру.
Я маленький. Ни мамы, ни отца.
Есть бабушка. Есть на обед — кулеш.
На ужин — грушка теплая — бабусе
даст кто-нибудь, бывало, а она
и принесет для внука. А созреют
малиновые яблоки — «цыганки»,
так столько было радости!..
Потом —
осколки, громы, полон дом людей,
стрекочут не по-нашему. Бывает,
конфету предлагают. Но бабуся...
она молчит: конфеты не бери,
ведь заругает: Не про нас конфеты.
Конфет тех я тебе не накуплюсь.

* * *

Усе росте довкола мене світ,
і все маліє мій маленький простір,
і все тужавіє, чорніє, твердне,
аж скоро спалахне од чорноти
і мовчазної туги. Подаліло
твоє життя, з якого ти уплав
пустився в чорноводдя днів наступних,
де ані тобі вітру, ані хвилі,
де ані сонця, місяця, зорі.
Загорнутий у летаргічний сон,
пливи у нікуди, аж доки сили
тебе напризволяще не покинуть
у безберегих досвітних світах.

* * *

Біжить по стежці листя голосне,
мов зграйка горобців золотоперих,
кривий їх лет і однокрилий лет
значить тебе тривожно-миготливо.
Рябіє ув очах — од сонця блисків.
Рябіє ув очах — од листя й споминів,
Рябіє ув очах — од проминулих
юначих однокрилих синіх днів.
Важкі, як дзвони, нелині-дуби
отаборилися, неначе запорожці,
і листя зачерпни, немов вогню,
і обпечи вогнем долоні й душу.
Не бійся — тамуватиме жагу
в глухім яру струмка гортанний журкіт.

* * *

Вокруг меня все возрастает мир,
мое же так сжимается пространство,
сгущается, чернеет и твердеет,
что скоро полыхнет от черноты
и от тоски безмолвной. Отдалилась
жизнь давнишняя, от нее ты вплавь
пустился в черноводье дней грядущих,
где нет тебе ни ветра, ни волны,
нет ни звезды, ни месяца, ни солнца.
Завернутый в смертельный, долгий сон,
плыви в пространство, в никуда, доколе
беспомощного силы не покинут
в безбрежных, не родившихся мирах.

* * *

Бежит по тропке звонкая листва,
как стайка воробьев золотокрылых,
неровный, однокрылый их полет,
их мельтешение тебя тревожит.
В глазах рябит от ярких бликов солнца,
рябит от листьев и воспоминаний.
Рябит в глазах твоих от пролетевших,
от однокрылых юных, синих дней.
Тяжелые дубы-колокола
отаборились, будто запорожцы,
их листьев жарких зачерпни огонь,
ладони опали свои и душу.
Не бойся — этот жар угомонит
в глухом яру ручья гортанный говор.

* * *

Вороння пролетіло в сусіднім вікні,
наче груддя біди в вечоровім огні,
наче помахи долі: нещасний, дивись,
як червоно і чорно твої пойнялись
роки сховані. Літа без зелен-садів,
коридори ночей обгорілих і днів
попідпалених, весни, де води ревуть
і гримить бездоріжжя, назначує путь
порозгаслими геть калюжами.
Доля спить, обіклавшись ножами.

* * *

Вже цілий тиждень обживаю хату.
Здається, і навикнути б пора.
Стілець і ліжко, вільних три квадрати,
що сповнені цілющого добра
небес просвітлих. Сонця синє груддя
аж ломиться у затісне вікно.
Оце тобі про славу і огуддя.
Оце воно, життя. Оце воно.

* * *

Тато молиться Богу,
тужить мама. Сестра
уникає порогу,
хоч вернутись пора.
Уникає — радіє,
повертає — мовчить.
Повечір'я ще тліє,
іще хвіртка рипить,
іще видно дорогу,
іще гусне жура.
Тато молиться Богу
і ридає сестра.

* * *

Воронье пролетело в соседнем окне,
будто клочья беды на вечернем огне,
знак безжалостной доли: несчастный, смотри —
красно-черными стали те годы твои,
что запрятаны в лета без зелен-садов,
в коридоры ночные из тягостных снов,
в отшумевшие весны, где воды ревут
и гремит бездорожье, и кони несут
по разбитой земле, виражами.
Спит судьба, обложившись ножами.

* * *

Уже неделю обживаю хату.
Наверно, притерпеться бы пора.
Стул и кровать, свободных три квадрата
целебного исполнены добра
небес отрадных. Солнце синей грудью
аж ломится сквозь тесноту окна.
Вот слава, вот тебе и — правосудье!
Вот это жизнь твоя. Вот тут она.

* * *

Папа молится Богу,
тужит мама. Сестра
не глядит на дорогу,
хоть вернуться пора.
Не глядит — веселеет,
а посмотрит — молчит.
Вечер все еще тлеет,
и калитка скрипит.
Ночь крадется к порогу,
грусть-тревога остра.
Папа молится Богу
и рыдает сестра.

* * *

Недовідомі закипають грози,
десь божевільні грають весілля.
А начування, окрики, погрози
за мною назирають звіддаля.
Куди й пощо? Не відаю, не знаю.
Мідяногорла ремствує сурма.
Ідуть етапи — без кінця і краю.
Реве шафар.
На світ зійшла пітьма.

* * *

Коли ти нишком в мій скрадешся сон
і станеш коло мого узголов'я,
не жур мене, що більше вже з тобою
я не зійдуся разом. Оборон
Господніх нам не відати. Прощай,
рокований на смерть, по бездоріжжю
я вирушив од тебе. Чорна хижа
ото любов, і спочив мій, і край.

* * *

Між співами тюремних горобців
причулося — синичка заспівала
і тонко-тонко прясти почала
синеньку цівку болю, мов з-під снігу
весняний первісток зажебонів.

* * *

Неведомые закипают грозы,
безумно свадьбы пляшут где-то там.
А для меня — лишь окрики, угрозы,
да надзиратели — по всем углам.
Куда, зачем? Не ведаю, не знаю.
Труб медногорлый плач сведет с ума.
Идут этапы — без конца и края.
Под рев шафара[1]
мир накрыла тьма.

* * *

Когда тайком в мой прокрадешься сон,
у моего возникнешь изголовья,
ты не жури меня — уже с тобой я
не встречусь боле. Божьих оборон
уже не ведать нам двоим. Прощай,
в беспутицу, на гибель обреченный,
прочь ухожу я. В развалюхе черной —
там и любовь, и отдых мой и край.

* * *

В чириканье тюремных воробьев
послышалось — синичка зазвенела
и начала так тонко-тонко прясть
голубенькую струйку боли, будто
под снегом первенец весны запел.

[1] Древняя ритуальная труба, рог, «иерихонская» труба.

* * *

Церква святої Ірини
криком кричить із імли,
мабуть, тобі вже, мій сину,
зашпори в душу зайшли.
Мороком горло обгорне,
ані тобі продихнуть.
Здрастуй, Бідо моя чорна,
здрастуй, страсна моя путь!
Плещуться крила об тугу,
чим я її розведу?
Жінку лишив на наругу,
маму лишив на біду.
Рідна сестра, як зигзиця,
б'ється об мури грудьми.
Господи! Світ не святиться —
побожеволіли ми.
Ходить Господь із кадилом —
чадом безсонних ночей
щось мене світом водило,
а не розкрило очей.
Церква святої Ірини,
пугач кричить із імли,
хором ериній нарине
розпач, усе замалий —
не нагодує довіку
геть перехлялих чекань,
зводиться тихо, як віко,
шарою шпарою рань.

* * *

Древняя церковь Ирины[1]
криком кричала во тьме:
сын мой, иль острые льдины
в душу вонзились тебе?
Горло укутало мглою
так что и не продохнуть.
Здравствуй, Беда. Нам с тобою
вместе прокладывать путь!
В долгую эту разлуку,
в горькую эту страну.
Маму оставил — на муку,
на поруганье — жену.
Бьется сестра, словно птица,
грудью о камень стены.
Господи! Свет не святится —
как же мы страшно больны.
Ходит Всевышний с кадилом —
чадом бессонных ночей,
что ж меня светом водило,
но не отверзло очей?
Давняя церковь Ирины,
филин пугает рассвет,
мести всех злобных эриний[2] —
мне недостаточно. Нет,
не утолю я до века
голод желаний былых.
Тихо поднялся, как веко,
день из-под туч грозовых.

[1] Церковь (возведена в XI веке) святой мученицы Ирины. На ее месте находится здание бывшего КГБ, в одной из камер которого ожидал своей участи Василь Стус.

[2] В древнегреческой мифологии эринии – богини мести, кары.

* * *

Де свінула Софія світанкова,
упав каштан, немов морений дуб.
О рідна стороно! Бувай здорова,
ти щонайтяжча із моїх загуб.
Сухий мороз і не зацвівши в'яне,
на яблунях і листя вже нема.
Камінний гроб. І ти — мов дерев'яний,
мов чорт, із нього дибишся сторчма.
Така журба, що може задушити —
ані тріпнешся. Ось ти, жало мук!
Кому не жити з нас? Кому з нас жити?
Щоб чути серця передсмертний стук.
Така оскліла рівнина довкола —
хоч покоти опукою по ній.
Чи це не ти, душе моя схолола?
Тоді так само сліпни і німій!
Така журба, що може задушити!
І розпач мій окляклий деренчить.
Кому не жити з нас? Кому з нас жити
під хижим сонцем доланих століть?

* * *

Упали роси на зелені вруна,
з діброви обізвався соловей,
подобою душі ряхтять лагуни,
безмежно виростаючи з ночей.
Над головою зірка ще тріпоче,
мов пійманий у сільце дикий птах.
Зайнявся день і яро палахкоче
на чорних роздоріжжях і вітрах.
Паду в траву — в благословеннім лоні
землі своєї спокій віднайду,
усеблагій віддавшись обороні,
бо за собою чую смерть-орду.

* * *

Как дуб мореный пал каштан. И снова
блеснул Софии[1] золотой наряд.
О сторона родная! Будь здорова,
тягчайшая из всех моих утрат.
Сухой мороз, и, как всегда, — нежданный.
На яблонях уже и листьев нет.
Гроб каменный[2]. А ты — как деревянный,
и чертом из него торчишь на свет.
Такая грусть — что к горлу нож. Пристанет —
не дернешься. Так вот ты, жало мук!
Кому не жить? А кто еще протянет?
Чтоб услыхать последний сердца стук.
Не благодать — ночная тьма накрыла.
И тишь, и гладь — шаром катись по ней.
Иль может ты, моя душа, остыла?
Тогда замри, ослепни, онемей!
Такая грусть, и в горле стон застрянет!
Отчаянье — не вырвусь из оков.
Кому не жить из нас? Кому — достанет,
под ярым солнцем отжитых веков?

* * *

На молодые всходы пали росы,
в дубраве отозвался соловей,
подобием души сверкают плесы
безмерно вырастая из ночей.
Над головой звезда еще трепещет,
как птица, что запуталась в силках.
День занимается и ярко блещет
на черных перепутьях и ветрах.
Паду в траву — в благословенном лоне
земли своей покой и мир найду,
отдав себя Господней обороне,
ведь за собою чую смерть-орду.

---

[1] Софийский собор в Киеве.

[2] Имеется в виду здание КГБ, напротив собора.

* * *

Осінь крилами в груди б'є.
О Вкраїно моя осіння!
Чом забракло мені уміння
Звеселити серце твоє?!

* * *

Коли в мій сон заходить Україна —
то без калин, без соняхів, без сонць,
а в сутінках. Як удова, з оклунком
заходить Україна в рідний дім:
напитися, спитати про здоров'я
і сісти скраю лавки. Відпочити
і чорний, як чорнозем, піт з чола
рукою стерти

* * *

Здалося, я живу в країні мертвих.
Христос з зорею жовтня на сорочці
спішить до комендантської години
позамітати всю міську панель.

* * *

Осень крыльями в грудь мне бьет.
Украина моя осенняя!
Отчего не достало умения
Мне утешить сердце твое?!

* * *

Когда в мой сон заходит Украина —
то без калин, подсолнечников, солнц,
а в сумерках. Как с узелком вдова
заходит Украина в дом родной:
воды напьется, про здоровье спросит
и сядет с краю лавки отдохнуть.
И черный, цвета чернозема, пот
со лба сотрет рукою.

* * *

Казалось — я живу в стране умерших.
Христос, в рубашке с желтою звездою
до часа комендантского спешит —
все вымести панели городские.

* * *

Чого ти ждеш? Скажи — чого ти ждеш?
Кого ти виглядаєш з-перед світу?
Кого ти сподіваєшся зустріти,
а най і стрінеш — віри не доймеш?
Тамтого світу закуток глухий,
а в ньому жінка, здумана зигзиця,
шепоче спрагло: Боже, най святиться,
О най святиться край проклятий мій.
Ще видиться: чужий далекий край
і серед степу, де горить калина —
могила. Там ридає Україна
над головою сина: прощавай.
І плачуть там, видушуючи з себе
сльозу навмисну, двоє ворогів,
радіючи, що син той не любив
ні України, ні землі, ні неба,
і всує хилиться висока тінь
чужого болю. Пустинь України
безмежнішає в цьому голосінні,
аж перемерзла луниться глибінь
опівнічна.
Кого ж ти, демон зла,
кленеш, кленеш, кленеш і проклинаєш?
Кого з самого себе викликаєш?
Свою недолю? Грудочку тепла
під попелом століть? Кого ж ти ждеш?
Невже сподієшся колись дожити,
щоб мовити чеканню. Все. Ми квити.
Ти забираєш, буцім-то даєш.

* * *

Чего ты ждешь? Скажи — чего ты ждешь?
Кого ты поджидаешь на рассвете?
Кого еще надеешься здесь встретить,
а встретив, — не поверишь, обойдешь?
Другого мира уголок глухой,
в нем женщина чуть слышно, тихой птицей,
молитву шепчет: Боже, пусть святится,
о пусть святится край проклятый мой.
И видится: чужой далекий край,
среди степи, там, где горит калина —
могила. Там рыдает Украина
над телом сына мертвого: прощай.
В могилу бросив по три горсти глины
и скорбь изображая что есть сил,
враги довольны: сын тот не любил
ни неба, ни земли, ни Украины.
Звучит напрасно грустная струна
чужой тоски. В том плаче Украина
безмерною становится пустыней,
и эхом отдается глубина
промерзшая.
Кого ж ты, демон зла,
клянешь, клянешь, клянешь и проклинаешь?
Кого еще в себе найти желаешь?
Судьбину злую? Горсточку тепла
под пеплом вековым? Кого ж ты ждешь?
Надеешься когда-нибудь дожить ты,
чтоб ожиданию сказать: мы квиты?
Ты забираешь, будто бы даешь.

* * *

Ти десь уже за пам'яттю. В пітьмі
утрати, до якої звикло серце.
І світишся, мов зірка, з глибини
узвишшя наднебесного. Тобі
все п'ять лиш літ. І ти в тих літах стрягнеш,
як зерня в шкаралущі. Болю мій,
на попіл вигорілий, як нестерпно
було б тебе удруге народити
і знов, як перше, вздріти немовлям!

* * *

Це — травень. Отже, літа пошукай —
в квадраті неба, що над головою
так гостро зрізано: де глибша синь
і ефемерне зграйне хмаровиння,
шукай його по шпарах межи стін,
де жовтостебла бадилина стромиться
і навмання пускається рости.
А там, за нашим велетенським муром, —
гукає мати — свого зве синочка,
і голос, геть і схриплий і грудний,
спізнав, що в світі — травень, в серці — радість
і літепло небес їй в очі світить
і хлюпає жага її долонь,
таких продовгуватих, як пелюстки.

Де ж ти, моя любове? Ні, не тут.
ти десь по закрайсвіту — наче бджілка,
що попід крильцями тримає ярий
пилок зажури. Де ти, сину мій?
Де ти, мій світе зимний? Де ті сосни?
Де шлях — до урвища, подалі — став
а ген на пагорбі — кощаві сосни:
вовтузяться, стенаються з морозу
і хухають в долоні?
Пошукай
довколо себе травня — не помітиш.

* * *

За памятью ты где-то. В темноте
утраты — к ней уже привыкло сердце.
И светишься звездой из глубины
возвышенности наднебесной. Ты
пяти лишь лет. И ты в тех годах стынешь,
как в скорлупе зерно. О боль моя,
сгоревшая дотла, как нестерпимо
тебя опять на свет явить мне было б,
младенцем прежним снова увидать!

* * *

Вот — май. Теперь и лета поищи —
в квадрате неба, что над головою
так остро срезано: густая синь
и эфемерных облаков собранье,
ищи его в расщелинах меж стен,
где желтостволый стебелек таится
и ощупью пытается расти.
А там, за великанскою стеною, —
мать своего сыночка окликает,
и голос — и охрипший и грудной,
познал, что в свете — май, а в сердце — радость,
и теплота небес в глаза ей светит,
и пламенеет жар ее ладоней,
продолговатых, словно лепестки.

Где ж ты, моя любовь? Нет, нет, не здесь.
За краем света ты — как будто пчелка,
под крыльцами собравшая густую
пыльцу печали. Где и ты, мой сын?
Где ты, мой свет морозный? Где те сосны?
Где путь к обрыву, в отдаленье — пруд,
там, на пригорке, — роща чахлых сосен:
притопывают, стонут на морозе,
в ладони дышат зябко?
Поищи
май около себя — уже не сыщешь.

Анічогісінько. Але в душі —
тлум: весни, зими, осені і літа,
мов риби, кубляться.
Перерости
свою негоду. Увійди у проріст
зеленої надії.
Все не мудре —
нам краще бачити, аніж рости.
А спогади — задушать...

НАД ОСІННІМ ОЗЕРОМ

Цей став повісплений, осінній чорний став,
як антрацит видінь і кремінь крику,
виблискує Люципера очима.

П'янке бездоння лащиться до ніг.

Криваво рветься з нього вороння
майбутнього. Летить крилатолезо
на утлу синь, високогорлі сосни
і на пропащу голову мою.

Охриплі очі збіглися в одне —
повторення оцього чорноставу,
насилу вбгане в череп.
Неприхищенний,
а чуєш, чуєш протяг у душі!?

Нет ничего. И лишь в душе — смешенье:
зима и лето, осень и весна,
как рыбы, сбились в стаю.
Но пройди
сквозь непогоду. Зеленью взойди
надежды новой.
Что же, это проще —
нам лучше видеть, нежели расти.
Но память же — задушит...

НАД ОСЕННИМ ОЗЕРОМ

Побитый оспою, осенний черный пруд,
как антрацит видений, кремень крика,
глазами люциферовыми блещет.

Хмельная бездна ластится к ногам.

И будущего воронье взлетает
кроваво, острокрыло из нее
на синь, на лес высокогорлых сосен,
на голову пропащую мою.

Глаза охрипшие сошлись в один,
едва входящий в череп и похожий
на пруд вот этот черный.
Бесприютный,
сквозные ветры чувствуешь в душе!?

* * *

Весь обшир мій — чотири на чотири.
Куди не глянь — то мур, куток і ріг.
Всю душу з'їв цей шлак лилово-сірий,
це плетиво заламаних доріг.
І дальша смерти — рідна батьківщина!
Колодязь, тин, і два вікна сумні,
що тліють у вечірньому вогні.
І в кожній шибі — ніби дві жарини —
журливі очі вставлено. Це ти,
о пресвята моя, зигзице-мати!
До тебе вже шляхів не напитати
і в ніч твою безсонну не зайти.
Та жди мене. Чекай мене. Чекай,
нехай і марне, але жди, блаженна.
І Господові помолись за мене.
А вмру — то й з того світу виглядай.

* * *

Колимське сонце стало сторч.
Бог ним махає, як ковадлом.
Пади-но з каменя на корч
і волю пий, аби не вадило б.
Довкола сопки геть рябі,
каміння, золото і кості.
Гей, земляки, заходьте в гості,
підданці спільної доби.

* * *

Четыре — на четыре. Не разрушу
тех стен с узором каменных дорог.
Лилово-серый шлак, мне выел душу,
и не переступлю тюрьмы порог
туда, где дальше смерти — Украина.
Колодец, тын и два окна вдали,
печально тлеющих в лучах зари.
То, верно, мать высматривает сына.
Так грустно очи смотрят — это ты,
пречистая моя голубка-мама!
Душа моя летит к тебе упрямо,
но не преодолеть ей черноты
бессонной ночи. Только не теряй
надежды светлой, только жди, святая,
на Господа в молитве уповая...
Умру — и с того света поджидай.

* * *

Над Колымою солнце — дыбом.
Им Бог раскачивает высь.
Через коряги, до воды бы,
и волю пей — не захлебнись.
Вокруг лишь сопки да холмы,
каменья, золото и кости.
Эй, земляки, зайдите в гости
к нам, подданные Колымы.

* * *

Безпашпортний і закріпачений,
сліпий, колгоспний мій народ!
Катований, але не страчений,
рабований, але не втрачений.
Тебе знайшов я на добро,
а чи на горе. Я не знаю,
не хочу знати. Ти бо є,
і я до тебе утікаю,
і я минуле проклинаю
твоє, народе мій, боєць,
твоє минуле. Де ти був,
і де ти жив, і де ти взявся,
і де ти стільки лих намався
як ліз покірно під обух.

* * *

Ця чорнота попереду давно
відстрашливі свої згубила чари,
відьомську силу втратила. Тепер
я годен мовити, що поборяю смерть.
Великий світ мені постав знова.
Ти в нього йдеш, як у пекельну штольню,
де жевріє вогонь камінних надр.
Дивись-но: вигоряє світ шарами.
Ця чорнота попереду — в зірках.
О стільки їх, забутих сонць, довкола
старого сяйва, стільки надовкруг,
що треба мати хист, щоб не згоріти.
В країні мертвих є той суходіл,
з якого б'є жива вода. По неї
летить із України ворони,
але не повертається додому.
Ця чорнота попереду — мій шлях
від смерті до життя. Нестримна сила
провадить мною. Збоку стань. І не
натужся. Свідком будь. Питливим свідком.

* * *

Беспаспортный, закрепощенный,
слепой, колхозный мой народ!
И пытанный, да не казненный,
и в рабстве, да не покоренный.
Тебя нашел я на добро,
а может — горе. Я не знаю,
знать не хочу. Ведь ты же есть,
и я к тебе лишь припадаю,
и я былое проклинаю
где ты страдал, народ-борец,
твое былое — там твой дух,
там ты терпел, оттуда взялся,
там лиха горького набрался,
там лез покорно под обух.

* * *

Тот черный мрак, что впереди, давно
зловещие свои утратил чары,
лишился сил бесовских. И теперь
способен я сказать — одолеваю смерть.
Великий свет мне сызнова открылся.
В него идешь, как в штольню преисподней,
где полыхает пламя жарких недр.
Смотри-ка: выгорает свет пластами.
Вся в звездах чернота, что впереди.
О столько их, забытых солнц, вокруг
сиянья давнего и столько рядом,
что нужно дар иметь, чтоб не сгореть.
В стране умерших есть тот суходол,
где бьет вода живая. И за нею
летит из Украины воронье;
не возвращается оно обратно.
Та чернота, что впереди — мой путь
от смерти в жизнь. Безудержная сила
влечет меня. Посторонись, не тщись
понять, но будь свидетелем пытливым.

Усе вбери у себе, все замкни,
обперезавши обручем залізним
свій безберегій розпач. Чорнота —
не збракне нам на всю грудну клітину.

* * *

Це тільки втома. Втома. І шалена.
Це тільки так — найшло — і відійде.
А вже як не відступиться од мене —
то краще — хай уб'є. Нехай — уб'є.
Дарма бо скніти — вже напівдорозі
між смертю і життям. Їй-бо — дарма.
Бо жодної з надій не маю в Бозі
і порятунку жодного — нема.
Пучками стисну ошалілі скроні
чекатиму, допоки відгримить
ця навіжена мить моїх агоній
і забарних чекань обридла мить.
Це так. Це так. Це — скоро дійде краю.
І як не скосить — то дихнути дасть.
О дасть дихнути, дасть дихнути. Знаю.
Іди ж, вістунко всіх моїх нещасть.
Це так. Це тільки так. Це надто легко
скоритися. Зіпнися — й перебудь.
А груди — мов бандури бите деко
і пірвано всі приструнки — гудуть.

Ты все вбери в себя и все замкни,
опоясавши обручем железным
отчаянье безбрежное. Не хватит
той черноты на всю грудную клетку.

* * *

Все это — только страшная усталость.
Все это так — нашло — и отойдет.
Но если не отступит, хоть на малость,
пусть лучше уж убьет. Пускай убьет.
Плевать! Так жить — уже на полдороге
от жизни к смерти. Значит — все равно.
Ведь ни одной надежды нет мне в Боге
и вымолить спасенья — не дано.
Сожму виски шальные меж ладоней
и буду ждать, пока не отгремит
безумный этот миг моих агоний,
миг ожиданий мрачных пролетит.
Теперь уж скоро. Боль подходит к краю.
Добьет, или отложит до иных
времен? О даст, о даст вздохнуть, я знаю.
Уйди же, вестница всех бед моих.
И только так. Покорствовать до века —
легко, но ты восстань, преодолей.
А грудь — разбитая бандуры дека —
гудит, и струны порваны на ней.

* * *

Відлюбилося.
Відвірилося.
Відпраглося.
День врівноважений,
як вичовганий валун.
Поступово перетворюєшся
на власний архів,
дорогий,
мов померлий родич.
Нічний ставок попід соснами,
книги, самота —
більше не зворохоблюють.
Світ — міріадом досяжних мет.
Забаганки — здійсненні.
Простягни руку попереду —
схололими пальцями
відчуєш самого себе.
Спокій,
вичинений.

* * *

Ти десь живеш на призабутім березі
моїх змілілих пам'ятей. Блукаєш
пустелею моїх молодощасть,
як біла тінь жорстокої скорботи.
Так часто Бог нам зустрічі дарує
в цій келії. Так часто я тебе
зову крізь сон, щоб душу натрудити
повік незбутнім молодим гріхом.
Припертий до стіни (чотири мури —
і п'ятого кутка ніяк не знайдеш),
чи не щодень до сповіді стаю,
та жодної мені нема покути.
На кожнім мурі проступає рить
журби твоєї. Посестри — подоби
(нічний твій виступ) — в кількоро очей
зорять на мене поглядом німотним —

* * *

Отлюбилось.
Отверилось.
Отжелалось.
День уравновешен,
как обкатанный валун.
Постепенно превращаешься
в собственный архив,
дорогой,
словно умерший родич.
Ночной пруд под соснами,
книги, уединенность —
больше не волнуют.
Мир — мириады доступных целей.
Капризы — осуществимы.
Протяни руку вперед —
остывшими пальцами
ощутишь самого себя.
Покой,
выдубленный.

* * *

Ты — там, на призабытом берегу
моих воспоминаний обмелевших
блуждаешь тенью беспощадной скорби
пустынею моих молодосчастий.
Так часто Бог с тобою встречи дарит
мне в келье этой. Часто так тебя
зову сквозь сон, чтоб душу натрудить
вовек несбыточным младым грехом.
К стене, одной из четырех, прижатый
(и пятого угла никак не сыщешь),
я исповедуюсь почти все дни,
но нет ни одного мне искупленья.
На стенах этих проступает зыбь
твоей печали. Двойники — подруги
(твое ночное действо) многоглазо
следят за мною взглядом бессловесным —

дошукуються давньої душі.
Ти є в мені. І так пробудеш вічно,
свічо моя пекельна! У біді,
вже напівмертвий, я в тобі єдиній
собі вертаю певність, що живий,
і жив, і житиму, щоб пам'ятати
нещастя щасть і злигоднів розкоші,
як молодість утрачену свою,
жоно моя загублена! Тобою
я запізнав ті розстані, які
нам доля не прощає. За тобою
спинив я часу плин. І кождодня
вертаюся в витоки. Надто тяжко
ступати безворотною дорогою,
де втрачено початки і кінці.
Я здумано живу і не зберуся
натішитися злагодою ночі
і забуття. Неначе стовп огненний,
мене ти з себе викликаєш, надиш —
забутим, згубленим, далеким, карим
і золотим. Куди ж мене зовеш,
брунатна бджілко? Дай мені лишитись
у цьому часі страдному. Дозволь
зостатися з бідою наодинці
і — ачи вмерти чи перемогти.
Дарма. Ти знову в сни мої заходиш
вельможно мури прочиняєш всі —
і золоті, брунатні, карі очі
йдуть зовсібіч на мене. І беруть
у свій полон.
До молодості зносять,
аби жбурнути — в прірву...

доискиваются души моей.
А ты — во мне. И так пребудешь вечно,
свеча моя палящая! В беде,
уж полумертвый, я в тебе одной
себе верну уверенность, что жив
еще, и жил, и буду жить, чтоб помнить
несчастье счастий, лихолетий роскошь —
утраченную молодость свою,
пропавшая жена моя! Тобою
познал я перепутья те, которых
нам доля не прощает. Бег времен
тобой остановил. И каждодневно
к истокам возвращаюсь. Слишком тяжко
ступать дорогой безвозвратной, где
потеряны начала и концы.
Я памятью живу, и не пытаюсь
утешиться союзом долгой ночи
и забытья. Как будто столп горящий,
меня ты из себя зовешь и манишь —
затерянным, забытым, дальним, карим
и золотым. Куда ж меня зовешь,
о пчелка рыжая? Дай мне остаться
здесь в этом страдном времени. Прошу:
дай встретиться с бедою в одиночку,
чтоб — или умереть, иль победить.
Напрасно. Снова в сны мои заходишь
препоны гордо раздвигаешь все —
и отовсюду на меня идут
глаза златые, карие. Берут
меня в свой плен.
И в молодость возносят,
затем, чтоб бросить — в бездну...

* * *

Про згадку для Стефанії Шабатури

Москва. Столиця. В сотні лиць
нас озирає при вокзалі.
Нас автомати пронизали.
О рідна сестро, падьмо ниць!
Цей світ — це сон. Оця діра —
цвинтарна. Шара вся. Примарна.
Між ста потвор — сестра. І гарна,
як смерть. Межи потвор — сестра.
Шепоче тихо: Отче наш,
єси на небеси, — помилуй!
Коб лезо — то відкрив би жили.
А світ звіріє в сотню пащ.

* * *

Перед будинком, у якому катують людину, зібрався великий натовп.

— Коли він лишиться живий, ми відсвяткуємо зустріч у ресторані, — каже добросерда бабуся, прозора як Богоматір.

— Хоч би його та не дуже мучили, — зітхає чоловік, що відкохав бороду й бакенбарди. Він жує бутерброд і запиває кефіром.

— Замучать, заму-у-чать, — каже бліда тлуста жінка з припухлим об-личчям, пропонуючи перехожим неспродані пиріжки.

— Все-таки добре, що про нього бодай піклуються, каже високий кремезний чоловік і показує долоні зі збриже-ною шкурою — сліди, залишені від лісорозробок у районі Печори.

— Нічого, правда восторжествує, — вихопився й собі плюгавенький чоловічок з вічками, як у цвіркуна.

— Восторжествує, — повторив плюга-венький чоловічок і голосно висякався.

* * *

На память для Стефании Шабатуры

Москва. Столица. В сотни лиц
нас озирает при вокзале.
Нас автоматы пронизали.
Сестра родная. Пали ниц!
Мир этот — сон. Ну и дыра —
как преисподняя, ужасна.
Меж ста волков — сестра. Прекрасна
как смерть, среди волков — сестра.
Молилась: сохрани в напасти,
еси на небесех, — помилуй!
Чтоб лезвие — так вскрыл бы жилы.
А свет звереет в сотню пастей.

* * *

Перед домом, в котором истязают человека, собралась большая толпа.

— Если он останется живой, мы отпразднуем встречу в ресторане, — говорит благодушная бабуся, светлая, как Божья Матерь.

— Хоть бы его уж не очень мучили, — вздыхает мужчина, выхоливший бороду и бакенбарды. Он жует бутерброд и запивает кефиром.

— Замучат, заму-у-чат, — говорит бледная толстая тетка с опухшим лицом, предлагая прохожим нераспроданные пирожки.

— Все-таки хорошо, что о нем хотя бы хлопочут, говорит высокий коренастый мужчина и показывает ладони с поморщенной кожею — следы, оставшиеся от лесоразработок в районе Печоры.

— Ничего, правда восторжествует, — вставил и свое плюгавенький человечек с глазками, как у сверчка.

— Восторжествует, — повторил плюгавенький человечек и громко высморкался.

* * *

Напередодні свята,
коли люди метнулися по крамницях,
виносячи звідти шпроти, смажену рибу,
шинку й горілку з перцем,
якийсь дивак, озутий у модні черевики
(такі тиждень тому були викинули
в універмазі "Україна" — двадцять два
п'ятдесят з навантаженням — дитячі штанці
вісімнадцятого розміру), облився чортівнею
і підпалив себе.
О, він горів, як порося, смалене примусом, —
налетів на людей, що культурно собі стояли
в черзі за цитринами,
порозбігались усі, як один:
від нього так несло смаленим —
носа було навернути ніяк.
На щастя десь узялося кілька
міліціонерів,
одразу вкинули його в машину
і помчали в бік Лук'янівки.
А черги ми таки достоялись. Аякже:
що то за святковий стіл без цитрин?

* * *

Живи у душах інших, як вампір,
бо вже давно немає в тебе тіла.
Таким бо таланом нагородила
тебе земля, де спокій твій і мир.
В цій порожнечі смерті — твій зупин,
це смерть твоя, голодна існуванням.
Живи ж у ній. Живи своїм конанням
і нескінченністю оцих хвилин,
подоланий і винищений ними,
бо ти віднині їхній раб єси.
Відбитих душ відбитої краси
тепер шукай очима навісними.

* * *

Накануне праздника,
когда люди кинулись по магазинам,
вынося оттуда шпроты, жареную рыбу,
окорока и водку с перцем,
какой-то чудак, обутый в модные туфли
(действительно, как-то неделю тому выбросили
в универмаге “Украина” — двадцать два
пятьдесят с нагрузкой — детские штанишки
восемнадцатого размера), облился черт знает чем-то
и поджег себя.
О, он горел, как поросенок, паленный на примусе, —
налетел на людей, что культурно себе стояли
в очереди за лимонами,
поразбежались все, как один:
от него так несло паленым —
дыхнуть было невозможно.
На счастье откуда-то взялось несколько
милиционеров,
быстренько вкинули его в машину
и помчались в сторону Лукьяновки[1].
А очереди мы таки дождались. А как же:
что это за праздничный стол без лимонов?

* * *

Живи душой чужою, как вампир,
ведь ты давно уже лишился тела.
Такой фортуной наградить сумела
тебя земля, где твой покой и мир.
Твой удерж в пустоте смертельной тут,
тут — смерть, голодная существованьем.
Терзайся в ней. Живи своим страданьем,
и бегом нескончаемых минут,
сраженный и опустошенный ими,
отныне навсегда их раб есть ты.
Зеркальных душ зеркальной красоты
ищи очами шалыми, больными.

[1] Район Киева, где находится знаменитая следственная тюрьма.

* * *

Спи. І не думай. Склепи свої очі. І спи.
Навіть як сон не заходить — склепи свої очі.
В снінні спізнаєш натхнення години урочі.
Ну, а не можеш спізнати — лежи і терпи.
Світ збожеволів і рве посторонки румак.
Нагло розскочився обрій. І ніч безберега
ламле рамена гінкі. Йде по шерезі шерега,
бачиш життя твоє суєтне рушило вспак.

* * *

Бриніли по обранених ярах
скляні струмки, відтеплювались кручі.
Глухоніма вода, і сонця спах,
і зойк лісів, нагальний, як падуча.
І перша птаха різала крилом
обрус небес, морозний і зелений.
Чаділи верби і шаліли клени.
О рвись до них — крізь ґрати — напролом!

* * *

Спи. И не думай. Сомкни свои очи. И спи.
Если и сон не приходит — сомкни свои очи.
В снах вдохновенье познаешь торжественной ночи.
Ну, а не можешь познать, так лежи и терпи.
Свет обезумел, в поводьях коней не сдержать.
Вмиг горизонта не стало. И ночь побеждает,
давит на гибкие плечи. Шеренга шеренгу сменяет,
видишь, никчемная жизнь твоя двинула вспять.

* * *

Уже звенят в пораненных ярах
ручьи стеклянные. Теплеют кручи,
проснулись воды в солнечных лучах
под вскрик лесов, внезапный, как падучая.
Вспорола птица первая крылом
шатер небес, морозный и зеленый.
Дымятся вербы и шалеют клены.
О рвись к ним — сквозь решетки — напролом!

* * *

Це просто втома. Втома і смертельна.
Це просто стало сторч на голові
тобі волосся. Пережди — минеться,
от тільки-но цигарку закури
і жди, що в серці буря відвирує,
і може, не доб'є тебе добро
важуче, як камінний хрест. Сподійся
на людську нездоланність. От і вже.
Набиті снами ночі, як мішки
призбираного збіжжя у коморі.
Дволикий Янус — кожне людське горе
і сльози серця — ніби лотоки
чи радості ачи біди — байдуже.
Устань. Тюремне ліжко застели
і за календарем надію виваж
чи сядь за книгу — довгу і нудну.
На віддалі, близькій од тебе, Гете,
лиш — недосяжний. Ждати перевчайсь,
бо люди ждатимуть і після нас,
а після люду ждатимуть богове,
чи вимовкла навіки-вік земля.
Отож, цигарку першу закури
і другу, третю запали, четверту.
Бо ця біда тобі не дасть і вмерти,
і все ж — життя, не смерть боготвори!

* * *

Ти десь за край світу, як птаха моя білогруда,
солодкомолока, два ока — мигдалі сумні.
Сподіюся щастя. Сподіюся дива. Сподіюся чуда
на цій чужинецькій оцій навісній стороні.
Як тяжко ці сопки на серце на хоре лягають
і небо обнизе всідається м'яко на діл,
а наші серця — все чекають, чекають, чекають,
а стерпу не стане — то виб'ються зовсім із сил.

* * *

Устал ты просто. Смертная усталость.
И волосы твои на голове
торчком стоят. Но пережди — минует,
ты только папироску закури
и жди, что в сердце буря отбушует,
и может, не добьет тебя добро
претяжкое, как крест гранитный. Выжди,
на стойкость человечью положись.
Набиты снами ночи, как мешки
с зерном в амбаре, много их собралось.
Людское горе — то двуликий Янус,
и слезы сердца — только желобки
для радости иль для беды — неважно.
Встань. Лагерную койку застели
и по календарю сочти надежду,
а то — за книгу скучную возьмись.
Он от тебя не так далек, твой Гете,
лишь недоступен. Снова ждать учись,
ведь люди будут ждать и после нас,
а вслед за ними будут ждать и боги:
замолкла ли уже навек земля.
Так и кури — одну, вторую, третью,
потянет — и четвертую спали.
Несчастье это не приблизит смерти,
и ты не смерть, а жизнь боготвори!

* * *

За краем ты света, как птаха моя белогрудая,
молочная сладость с печалью в миндальных глазах.
Надеюсь на счастье. Надеюсь на диво. Надеюсь на чудо я
в чужбине ненастной, на этих проклятых горбах.
Как тяжко мне сердце больное те сопки сжимают,
и низкое небо к земле оседает, как ил,
а наши сердца — все надеются, все ожидают,
не станет терпенья — то выбьются вовсе из сил.

* * *

І що ж: коли немає долі,
то мовимо: ще буде нам!
Вітри заграли на басолі,
довірливо дались басам.
О сопки, зойки скам'янілі!
Біблейський знак стовпотворінь.
І як душа в одлеглім тілі —
на білому просиня тінь.
Мов дух, мов чад, мов крик скричалий,
мов стогін, вистиглий в роках.
І це усі твої причали,
піднесений в узгір'я жах?
Отут, між сімома горбами,
вода струмує потайна.
А обрій марно марить нами,
і манить хвиля навісна.

КОЛЬОРОВИЙ ОБРАЗОК

Негр у червоному.
У жовтій сукенці
з чорним пояском —
білява дівчина.
Пройшли Хрещатик,
вийшли на Володимирську гірку.
Голубів Дніпро — останнім денним полум'ям,
голубіли очі,
вечорішав, світлішав негр.
Тихо хлюпа лимонна хвиля,
а край берега —
у червоному негр,
поруч дівчина
в жовтій сукенці з чорним пояском,
та небо, зловлене у витишений Дніпро,
і дівчина —
в волохаті обійми ночі.

* * *

Что ж, если нет удачи в доле,
то скажем: повезет и нам!
Взыграли ветры на басоле[1],
дались доверчиво басам.
О сопки, вскрик окаменелый!
Столпотворенья древний знак.
Душа, оставившая тело:
на белом — черно-синий мрак.
Как дух, как чад, как одичалый
стон, затерявшийся в годах.
И это все твои причалы,
вознесшийся к вершинам страх?
Здесь воды меж семью горбами
несутся к цели потайной.
Но горизонт зря грезит нами,
и манит зря поток шальной.

ЦВЕТНАЯ МИНИАТЮРА

Негр в красном.
В желтом платьице
с черным пояском —
светловолосая девушка.
Прошли Крещатик,
вышли на Владимирскую горку.
Голубел Днепр — последним дневным пламенем,
голубели глаза,
в сумерках светлел негр.
Тихо хлюпает лимонная волна,
а у берега —
негр в красном,
рядом девушка
в желтом платьице с черным пояском,
да небо, отраженное в затихшем Днепре,
и девушка —
пойманная в волосатые объятия ночи.

[1] Басоля — украинский нар. муз. инструмент.

* * *

Вік би не бачити й не чуть
про тебе, скрипко чорна,
а вірші йдуть, і йдуть, і йдуть,
неначе кров із горла,
і пахнуть рутою, котра
уже напівзабута,
і пахнуть м'ятою. Добра
сам Бог мені прелютий
був зичив, даючи цей хист
проклятий — віршувати
на власну голову. А зміст?
А змісту не добрати.
Коли топилася душа
в грайливім струмуванні,
ти необачно полишав
всі приписи посланій,
де стільки ком, рисок, крапок —
сам чорт там шию зверне.
Сердечний наживеш порок
чи совісті каверни.
Добром об'яснена душа
велить вогнем палати.
Ти лиш за хистом полишав
право — обирати
собі дорогу. Бо не він,
а ти — був раб. Не блазнем,
а рудокопом. Домовин
таланту вічним в'язнем.

* * *

Век бы не видеть и не знать
об этой скрипке черной,
но вот стихи текут опять,
как будто кровь из горла,
и пахнут рутою, она
полузабытой стала
и пахнут мятою. Добра
злой Бог в займы немало
дал — он талант вложил в меня
проклятый, рифмы эти,
на голову свою. Не зря?
Спроси — Он не ответит.
Когда неслась душа твоя
в бурлящем клокотании,
ты безоглядно оставлял
все прописи посланий,
где точка, запятой крючок —
черт сломит шею верно.
Сердечный наживешь порок
и совести каверны.
Ты ж сердце не берег свое,
огнем оно пылало.
Не ты — призвание твое
дорогу выбирало
твою. Его рабом ты был,
не шут и не бездельник.
Ты рудокопом был. Могил
таланта вечный пленник.

* * *

У німій, ніби смерть, порожнечі свічад
пересохла імла шебершить, мов пісок,
і високий, як зойк, тонкогорлий співак
став ширяти над тілом своїм.
Дух підноситься д'горі. У зашморзі бід
аж зайшовся кривий од волання борлак,
аж огранням дзеркал заросилася кров!
Ніч зсідається, наче кришталь.
Начувайсь, навіжена, скажена душе!
Бо вдивляння, вслухання — зненацька уб'ють!
І звереснула нервів утята струна,
і звереснув пугкий напівсон кришталю,
і звереснула пустка свічад.

* * *

Був віщий сон: немов на катафалку,
іще живий, я, везений на кару,
конаючи, востаннє подивляв
стьмянілі юрми, що кудись спішили,
і висів понад світом синій чад.
Обабіч мене — ті мої друзяки,
що бог їм радий, ніби диригують
процесією, подають поради,
як краще грати передсмертну мить.
І шамотіло море голосів,
колючі нашепти і радість люті,
ще й барабанний дріб чиєїсь усмішки
по плечах, мов по бубнах, вибивав.
Був вечір. І потік ілюмінацій,
напівреальний і напіввидимий,
космічним холодом окрив дорогу.
Як, прохолодо скону, ти свіжиш!
Та повнилося серце тихим миром,
передчуттям такого опочинку,
з якого нас живцем уже не вирвеш.
То в ньому пробувають на віки.
Якась модернізована Голгофа.

* * *

В бессловесной, смертельной зеркал пустоте
пересохшая темень шуршит, как песок,
и высокий, как крик, тонкогорлый певец
дух подъемлет над телом своим.
И возносится ввысь. И в удавке беды
аж зашелся кривой от призывов кадык,
аж на грани зеркальные брызнула кровь!
Ночь сгущается, будто хрусталь.
Стерегись же шальная, больная душа!
Взгляд и слух обостренный — однажды убьют!
И вскричала обрезанным нервом струна,
И пугливый вскричал полусон хрусталя,
И вскричала зеркал пустота.

* * *

Был вещий сон: меня на катафалке,
на казнь везут, пока еще живого.
В сознании предсмертном расплывалась
туманная толпа людей, спешивших
куда-то; вис над миром синий чад.
Приятелей моих, угодных Богу,
заметил я вокруг, они как будто
ведут процессию, дают советы:
как миг предсмертный лучше обыграть.
Шуршало море голосов — колючих
нашептываний и восторгов лютых;
усмешки чьей-то барабанный грохот
по спинам, как по бубнам выбивал.
Был вечер. И поток иллюминаций,
полу-реальный, полу-различимый,
межзвездным холодом накрыл дорогу.
Как освежаешь ты, прохлада-смерть!
Но наполнялось сердце тихим миром,
предчувствием забвения такого,
откуда нас живьем уже не вырвешь.
В него мы убываем на века.
В модернизированную Голгофу.

Велика зала, ще напівпорожня,
лише на покуті мотивом бога
бринів білявий тлустий чоловік.
І неслухняне і тяжке обличчя
він нашорошував, неначе вуха,
і силоміць видушував блаженство,
щоб затулити діри порожнеч.
Бовтки очей, округлість бляклих лиць,
обросла безпорадність підборіддя,
невправність випещеної руки
і постаті зрадливе хвилювання —
усе значило кострубатий Ляк.
І ось та мить, коли знялись вітри —
немов ридання, видовжені в простір, —
ось закушпелить, вирветься нараз
твоя зненапрямкована ракета
і відпливе навіки похід цей,
і вимовкне твоя свята дорога,
котрою вже не ти, а хтось обачний —
ізбоку тебе — враз порветься в лет.
О безголів'я, здрастуй! Пізнаєш?
Обличчям до обличчя притулися
і затули мене од цього світу,
відмалку неприхищеного... Доле,
провадь мене і пізнавай дорогу,
бо висить понад світом синій чад.

* * *

І так здалось: отут я й народився,
і виріс, і живу, і довікую
ще кілька літ, не чуючи плачу
своїх сивеньких голубів, що вколо
змайстрованого предками стола
прядуть, прядуть у дві жалоби довгі
цю молоду біду — собі на старість.
І так здалось: отут і довікую
ці літа збавлені. Ані дружини,
ні сина вже не чуючи. Хіба що
коли присняться тільки. От і вже.

Огромный зал, еще полупустой.
Из красного угла — мотивом бога
вещал невнятно бледный человек.
И непослушное свое лицо
он настораживал, как будто уши,
вымучивая силою блаженство,
чтобы замазать дыры пустоты.
Несвежесть глаз, округлость блеклых щек,
его безвольный, влажный подбородок,
руки холеной вымученный жест,
волнение и дрожь фигуры тучной —
неодолимый выдавало Страх.
И вот тот миг, когда задули ветры —
рыданьями, простертыми в пространство, —
сейчас прочертится по небу след
твоей неуправляемой ракеты,
а твой кортеж навеки отдалится,
и гул твоей святой дороги смолкнет;
уже не ты, а кто-то осторожный —
в полет рванется, сбоку от тебя.
О безысходность, здравствуй! Узнаешь?
В глаза взгляни, лицом к лицу прижмись,
и, с детства бесприютного, меня
укрой от света этого... Судьба,
веди меня и узнавай дорогу,
ведь он висит над миром — синий чад.

* * *

И так казалось: тут я и родился,
и вырос, и живу, и протяну
еще лет несколько, не слыша плача
двух голубков моих седых, что возле
сработанного предками стола
прядут, прядут в две долгие печали
несчастие мое — себе на старость.
И так казалось: здесь и проживу
остаток лет загубленных. Ни сына,
и ни жены не слыша. Разве только
когда-нибудь приснятся. Вот и все.

А решта — все й те саме: понад небо
підносся подумом і, мов відьмак,
світанку виглядай опроти ночі,
а як набридне — смерку накликай
на голови пропащі. Щоб помалу
призабували вигаданий міт,
не квапили того, що, може, прийде,
а, може, й ні. Хай жебонить життя,
як кров, постигла в жилах. Хай спроквола
збігає час. Бо духу непідвладні
надлюдські сили. Хоч занадто тяжко
півсвіту білого сюди убгати,
в цю затісну господу. А проте
він ломиться до неї — ламле руки,
і карк, і голову, і оступає
тебе святою приязню. Нещасний,
тобі він гоїть рани, коли сам
от-от сконати може від любові
надмірної. Хто раб? Хто рабовласник?
Чи ти, чи білий світ? Чи полонила
любові ніжна і жорстока сила,
обох вас не пускаючи? Скажи?

* * *

Самого спогаду на дні,
як зірка у криниці,
вона з'являється мені
і світить і святиться.
З імли, із глибу забуття,
з великої розлуки
вертає ніби з пражиття
і ламле білі руки:
такий же гожий білий світ,
біл-світ такий же гожий,
а тут лиш мури і граніт,
паркани й огорожі.

А остальное — как всегда: над небом
мечтами возносись и, как ведьмак,
рассвет высматривай из мрака ночи,
а как наскучит — сумрак накликай
на головы пропащие. Помалу
пусть забывают выдуманный миф,
и не торопят то, что, может быть
придет, а может, нет. Пусть жизнь журчит,
остывшей кровью в жилах. Пусть бесстрастно
уходит время. Все же не всевластен
и не всесилен дух. Хоть слишком тяжко
полсвета белого сюда вместить,
в жилище это тесное. А все же
он ломится в него — ломает руки,
и голову, и шею, обвивая
тебя святым пристрастием. Несчастный,
тебе он лечит раны, ну а сам
вот-вот погибнуть может от чрезмерной
любви. Кто раб? А кто рабов владелец?
Ты, или белый свет? Иль полонила
любви жестокой ласковая сила,
не отпуская вас двоих? Скажи?

* * *

У памяти на самом дне,
как звездочка в кринице,
она является ко мне
и светит и святится.
Из мглы, из глуби забытья,
из горя злой разлуки
вернется, как из пражитья,
заламывая руки:
такой пригожий день стоит,
бел-свет такой пригожий,
а тут лишь стены и гранит,
заборы, огорожи.

* * *

Ріка життя уже тече повз мене.
І жди-не-жди, і скільки не чекай —
та оббігає течія шалена
забуту гору і забутий гай.
Окремо день — синіє стьожка болю,
окремо космос — чорна чорнота.
Забутий світе, я назнався вволю,
чого ти варта, дорога мета.
Проносяться століття —
не спинити —
ув алкоголь біди,
у забуття.
Збігає час — страждати і любити,
а за парканом кулиться життя.

* * *

Комуністи — вперед! Комсомольці — вперед!
Уперед — барабанщику, пройда-поет!
Уперед — бо помреш і не вернеш назад,
піднімай обважнілий партійний свій зад.
Бо попереду — втеча. Втікай — уперед.
Від страшних, від важких, від омріяних мет.
Там казарми будують, там тешуть труну,
підтягайте, музики, мідяну струну.
Щоб без ляку — в могилу. Провали очниць
зберігають залізну упевненість лиць.
Уперед — це назад. А назад — це вперед —
вболівав за прогрес поступовий поет.
Вчить нас партія рідна — несхитно іти
до вселенської радості, як до мети.

* * *

Минует жизнь меня в своем стремлении,
и жди — не жди, и сколько ни мечтай —
но оббегает шалое течение
и лес и гору — твой забытый край.
Отдельно день — синеет стежка боли,
отдельно космос — мрак и чернота.
Забытый мир, уж я изведал вволю,
что стоишь ты, любимая мечта.
Летят века —
безжалостно их бремя —
в похмелье бед,
в забвенье, в мир иной.
Страданий и любви уходит время,
а жизнь лишь чуть дымится за стеной.

* * *

Коммунисты — вперед! Комсомольцы — им вслед!
Поспешай барабанщик — пройдоха-поэт!
Марш вперед, ведь умрешь, не вернешься назад.
Поднимай погрузневший партийный свой зад,
и быстрее — вперед, там укроешься ты
от воспетой, тяжелой и страшной мечты,
где казармы возводят, где ладят гробы
под бодрящую музыку медной трубы.
Чтоб без страха — в могилу. Провалы глазниц
сберегают стальную уверенность лиц.
Ведь вперед — то — назад. А назад — там — без бед —
так болел за прогресс пролетарский поэт.
Учит партия наша родная идти
нас к вселенской мечте не сбиваясь с пути.

* * *

Лежу під сонцем вересня, укрившись
незграбним пойменованим бушлатом,
і чую: спалахнули сірниками
мої одвиклі од пера пуки.
Лежу під сонцем вересня. З тополі
об загороду дзвонить падолист,
мов щур поводить шиєю, недремний,
дбайливий друг мій, видершись на вежу,
а охра смутку, вплетена в траву,
нагадує мені часи колишні.
Так човен, лігши набік на воді,
вглядається безоко в чорну невідь,
востаннє потерпаючи збагнути,
де вивід твій, рятунок чи кінець.
Та хоре серце вересня тріпоче
метеликом осіннім. Поміж листям,
обвороненим, зблудилася бджола.
Коли гулкі німують лабіринти,
втішаючись своєю походою,
йде косогором вереснева смерть
всі переплутавши початки і кінці
(мережачи ясну свою дорогу
ще й манівці мережить обережно).

* * *

Ждання — витратне. Ти — пунктир смертей
душі живої. Спекайся чекання
і глянь відважно в померк існування,
котре на нас ані зведе очей.
Чого ж ти варт без рятівних подоб,
живих конань, що в піжмурки з тобою
хтять гратись? Прихистись — бідою,
прикрий добою свій порожній лоб.
Чого ж ти варт, згубивши машкару,
що панцирем холодним біль студила.
Тепер душа втікає твого тіла,
спрожогу в тілі роблячи діру.

* * *

Лежу под солнцем сентября, укрывшись
нескладным именным своим бушлатом,
и чувствую: горят, как спички, пальцы,
что от пера давно уж поотвыкли.
Лежу под солнцем сентября, а тополь
звонит об огорожу листопадом.
Как крыса водит шеею, не дремлет
заботливый мой друг, торча на вышке,
а охра грусти, что покрыла травы,
напоминает мне про дни былые.
Так лодка, легши набок на воде,
безглазо смотрит в черную безвестность,
и мучится в последний раз понять,
где твой исход, спасенье иль конец.
Трепещет сентября больное сердце
осенней бабочкой. И меж листвою,
опавшею — не сыщет путь пчела.
Когда смолкают гулы в лабиринтах,
торжественной походкой выступая,
сентябрьская идет по склону смерть,
все перепутавши начала и концы
(свивая ясную свою дорогу,
вплетает и тропинки осторожно).

* * *

Ждать — как терять. А ты — пунктир смертей
души живой, оставив ожиданья,
вглядись смелей во тьму существованья,
что и не возведет на нас очей.
Что стоишь ты без всех твоих личин,
живых агоний, что хотят с тобою
играться в жмурки? Спрячься — за бедою,
проклятым веком... Мало ли причин?..
Что стоишь ты, утратив мишуру,
что, как кольчугу, боль твоя надела?
Душа из твоего уходит тела,
поспешно в теле делая дыру.

* * *

Одна гора — зима, а друга — літо,
а я стою, мов осінь, — посеред.
І сонце, сонце, со- несамовите
топило сланцю перегірклий мед.
Мені колимські мухи задзижчали,
мені торішня пахнула трава,
бо Ти мене, мов янгол пильнувала.
Ти — наречена, ачи удова?

* * *

Неначе гуси, відлітають роки
і спогади. Ні шурхоту, ні крику,
і тільки голубий повнявий жаль
волочиться услід. І лячне сонце
ховається за чорними борами.
Осклілий день, кінця, ані початку
не знаючи, спинився в вижиданні,
аби збагнути — це ява чи сон.
А спогади збігають. А роки
спливають, наче гуси в високості,
а той, на белебні, напризволяще
покинутий — за поглядом подався
услід, бо потерпає, що відстане
і згубиться в пустелі...

* * *

Одна гора — зима, другая — лето,
а я стою, как осень, — посеред.
И солнце, солнце, со..., как много света!
И плавится прогорклый сланца мед.
Мне мошкара колымская жужжала,
мне пахла прошлогодняя трава,
ведь Ты меня, как ангел, охраняла.
Невеста, или, может быть, вдова?

* * *

Как белы-гуси отлетают годы,
в забытое. Ни шороха, ни крика.
Водой весенней, голубою, жалость
вслед разливается. Пугливо солнце
скрывается за черными борами.
Застывший день — начала и конца
не знающий, недвижен в ожидании.
Понять не может: это явь, иль сон.
Уже воспоминания уходят,
как гуси, годы тают в вышине,
а тот, вдали, на произвол судьбы
оставленный — за стаей следом рвется,
из вида потерять, отстать боится,
и запропасть в пустыне...

КАМПАНЕЛЛА

Що ти мрієш, страднику нещасний?
Що ти мрієш сонцем світовим?
Грім гримить громохкий і напасний,
землетрус, і блискавиця, й дим.
Камера твоя в чотири мури
простору. Віконце. І ланці.
І обличчя — сіре до зажури,
в зійшлись початки і кінці.
Місто сонця пахне смертним тліном.
пахне кожен вірш твій небуттям.
Світ творити — ницим і уклінним,
і підніжкам — тішитись життям!
Яма крокодиляча і велья
і поледро — тільки це твоє.
Як безобрійна нічна пустеля —
все апокрифічне житіє.
Божевіллям прихистись до люті,
од тортури — смертю прихистись.
Сплять мерці — у кригу страху вкуті,
і земна похитується вісь.

* * *

Коли я роки перебуду
і не задубну по снігах,
і донесу свою маруду
комусь на докір чи на страх,
чи ти в мені впізнаєш мужа?
Чи батька розпізнаєш ти?
Чи видадуться забайдужі
моїх зотлілих доль хрести?
Чи, може, заголосять руки
і заламаються уста,
і вже не з'явиться з-за муки
твоя небесна чистота?
Ти, краю мій, мене впізнаєш?
Признаєш сина у мені?
Котрого любиш і караєш,
і спопеляєш на вогні?

КАМПАНЕЛЛА

Что, страдалец, видишь ты, несчастный?
Что ты грезишь солнцем мировым?
Молний ярый блеск и гром ужасный,
и трясение земли, и дым.
Камера: тряпье, оконце, стены —
весь простор твой; и твое лицо —
серое до боли... Перемены
нет, и время замкнуто в кольцо.
Город солнца пахнет смертным тленом,
Каждый стих разит не-бытием.
Свет творить поникшим и смиренным,
на коленях — тешиться житьем!
Яма крокодилова и велья
и полледро — только и твое.
Спрячешь ли во мраке подземелья
солнце выдуманное свое?
Заслонись безумием от злости,
в смерть уйди от пыток, коль пришлось.
В льдину страха вмерзли мертвых кости,
и земная покачнулась ось.

* * *

Когда свои года отбуду,
и не загину я в снегах,
нежданным объявлюсь отсюда
кому — в укор, кому — на страх,
тогда во мне узнаешь мужа?
Отца во мне узнаешь ты?
Иль назовешь совсем ненужными
моих истлевших доль кресты?
А может, лишь заплачут руки
и изломаются уста,
и не проглянет из-за муки
твоя святая чистота?
О край мой, ты меня узнаешь?
Признаешь сына ты во мне?
Того, что любишь и караешь,
испепеляя на огне?

* * *

Прощайте ви, чотири мури,
три двері, грачене вікно
і ти, мовчазний і понурий
мій столе, й ти, вільготне дно
ночей тюремних. Прощавайте.
Коло Тенара — мерехтить.
Нічні сонця, мені світайте,
бодай на день, бодай на мить.
Біда тут грала на басолі,
чорти казились по кутках.
А втім, скажу: пізнав і волю,
свободу на семи замках,
коли гуртом відпочивали
(как на курорте — еге-геж!).
І на чим світі проклинали
і Папу Римського й папеж!

* * *

Утрачені останні сподівання,
Нарешті — вільний, вільний, вільний ти.
Тож приспішись, йдучи в самовигнання:
безжально спалюй дорогі листи,
і вірші спалюй, душу спалюй, спалюй
свій найчистіший горній біль — пали.
Тепер, упертий, безвісти одчалюй,
бездомного озувши постоли.
Що буде завтра? Дасть біг день і хліба.
А що, коли не буде того дня?
Тоді вже гибій. Отоді вже — гибій,
Простуючи до смерті навмання.

* * *

Прощайте вы, глухие стены,
три двери, в клеточку окно,
мой стол понурый, неизменный,
и ты, ночей тюремных дно
привольное. Теперь — прощайте.
Там, у Тенара — ваша тень.
Ночные солнца, освещайте
мне этот миг, мне этот день.
Тут боль играла на басоле[1],
дурели черти в закутках.
А все ж, скажу: познал и волю,
свободу на семи замках,
когда гуртом здесь отдыхали
(ну, на курорте — ей-же-ей!).
И, на чем свет стоит, ругали
и Папу и его друзей!

* * *

Последние не сбылись ожиданья,
и вот уж вольный, вольный, вольный ты.
Так поспеши, идя в самоизгнанье:
не оставляй бесценные листы —
сожги и письма, и стихи. И душу
сжигай, и чистых горних мыслей боль.
И сам себе поверь, сказав — не трушу,
бездомного избрав судьбу и роль.
Что будет завтра? Даст Бог день и хлеба.
А если дню тому не будешь рад?
Тогда — терпи, и не греши на небо,
к погибели шагая наугад.

[1] Басоля — украинский нар. муз. инструмент.

* * *

Живи у душах інших, як вампір,
бо вже давно немає в тебе тіла.
Таким бо таланом нагородила
тебе земля, де спокій твій і мир.
В цій порожнечі смерті — твій зупин,
це смерть твоя, голодна існуванням.
Живи ж у ній. Живи своїм конанням
і нескінченністю оцих хвилин,
подоланий і винищений ними,
бо ти віднині їхній раб єси.
Відбитих душ відбитої краси
тепер шукай очима навісними.

* * *

О Боже мій! Така мені печаль
і самота моя така безмежна!
Нема — Вітчизни! Око обережно
обмацує дорогу між проваль.
Ото — мій шлях: повернення чи — не...
Ото — мій шлях: світ-за-очі. Єдине.
Прости мені, кохана Батьківщино.
О матере, не проклени мене!
Я — геть подався. Шалом. Навмання.
Я — геть подався, стомлений од люті.
Рожеві сопки, кригою окуті,
а понад ними — чорне вороння.
І сліпне вечір. Контур гір — немов
з картону вирізаний — для декору
і вся тобі дорога — вниз чи вгору.
Пішов туди. Пішов туди. Пішов!

* * *

Живи душой чужою, как вампир,
ведь ты давно уже лишился тела.
Такой фортуной наградить сумела
тебя земля, где твой покой и мир.
Твой удерж в пустоте смертельной тут,
тут — смерть, голодная существованьем.
Терзайся в ней. Живи своим страданьем,
и бегом нескончаемых минут,
сраженный и опустошенный ими,
отныне навсегда их раб есть ты.
Зеркальных душ зеркальной красоты
ищи очами шалыми, больными.

* * *

О Господи! Тоскую я. Устал,
и одиночество мое безмерно!
Отчизны — нет! Глаза тропой неверной
ведут меня над бездною у скал.
Таков мой путь — вернусь я, или — не...
Таков мой путь — дорог не выбирая.
Прости меня, земля моя родная.
О матерь, не пошли проклятья мне!
Прочь ухожу я. Шало. Напролом.
Прочь ухожу — озлобленный, разбитый.
Спят розовые сопки, льдом покрыты,
клубится небо черным вороньем.
И слепнет вечер. Контур гор встает —
как будто из картонного декора.
Куда твоя дорога — вниз ли, в гору?
Пошел туда. Пошел туда. Вперед!

* * *

Ти тут. Ти тут. Вся біла, як свіча —
так полохко і тонко палахкочеш
і щирістю обірваною врочиш,
тамуючи ридання з-за плеча.
Ти тут. Ти тут. Як у заждалім сні —
хустинку бгаєш пальцями тонкими
і поглядами, рухами палкими
примарною ввижаєшся мені.
І враз — ріка! З розлук правікових
наринула, найшла і захопила.
Та квапилася моторошна хвиля
у берегах, мов коні, торопких.
Зажди! Нехай паде над нами дощ
спогадувань святошинських, пречиста.
О залишись! Не смій іти до міста
занудливих майданів, вулиць, площ.
Ти ж вирвалася, рушила — гірський
повільний поповз, опуст, розпадання
материка, раптовий зсув і дляння,
і трепет рук, і тремт повік німий.
Пішла — туннелем довгим — далі — в ніч —
у морок — сніг — у вереск заметілі,
Тобі оббухли слізьми губи білі.
Прощай. Не озирайся. І не клич.
Прощай. Не озирайся. Благовість
про тогосвітні зустрічі звістує
зелена зірка вечора. Крихкий
звереснув яр. Скажи — синочок мій
нехай віка без мене довікує.
Прощай. Не озирайся. Озирнись!!!

* * *

Ты здесь. Ты здесь. Белеешь, как свеча
так трепетно и тонко так пылаешь,
так искренне разлуку предвещаешь,
рыдания сдержав, из-за плеча.
Ты здесь. Ты здесь. Как в долгожданном сне —
платочек мнешь в холодных пальцах тонких,
в подвижных взглядах и в движеньях ломких
вся нереальной кажешься ты мне.
И вдруг — река! Как память о былом,
как боль разлук — ударила, и смыла.
Страшна волны безудержная сила
промчавшейся, как кони, напролом.
Не исчезай, пречистая, не смей!
На нас падет — святошинский[1], всесильный —
воспоминаний дождь. Забудь свой пыльный
мир улиц городских и площадей...
Ты ж вырвалась, отхлынула волной,
как гор обвал, как сдвиг, иль распаденье
материков, их плавное движенье,
и дрожь в руках, и трепет век немой.
Уходишь ты — туннелем длинным — в ночь —
во мрак и снег — в прощальный вой метели,
от слез распухли губы, побледнели...
Прощай. Бессилен я тебе помочь.
Прощай. Не отзовись, не оглянись.
В ночи зеленая звезда волхвует
уж неземные встречи нам. Постой!
Яр голосит. Скажи — сыночек мой
пусть без меня на свете отвекует.
Прощай. Не отзывайся. Отзовись!!!

[1] Святошин — окраинный район Киева, где жила семья Стусов.

* * *

Яка нестерпна рідна чужина,
цей погар раю, храм, зазналий скверни!
Ти повернувся, але край — не верне:
йому за трумну пітьма кам'яна.
Як тяжко нагодитись і піти,
тамуючи скупу сльозу образи,
радійте, лицеміри й богомази,
що рідний край — то царство німоти.
Та сам я єсм! І є грудний мій біль,
і є сльоза, що наскрізь пропікає
камінний мур, де квітка процвітає
в три скрики барв, три скрики божевіль!
Обрушилась душа твоя отут,
твоїх грудей не стало половини,
бо чезне чар твоєї Батьківщини,
а хоре серце чорний смокче спрут.

* * *

Бринить космічна музика струмка,
неначе ним усесвіт обізвався
до німоти, з котрої прозначався.
І забриніла голосна ріка —
світань і туги, щебету й туману,
одмитих барв, притлумлених волань.
Оце ти й є, дорого почезань,
стежо народжень і тропо омани.
Бо, одволоданий, не прихистиш
душі, що зупинилась при порозі
назнаменовань, при сліпучім розі
заломів долі. Тиша. Тиші тиш.

* * *

Мне чуждой стала родина сама,
как рай сгоревший, храм, познавший скверну!
Вернулся ты, а край твой — нет. Наверно
ему в надгробье — каменная тьма.
И вот, нежданный, прочь уходишь ты
от всех обид, отпущенных без меры,
ликуйте богомазы, лицемеры:
отчизна стала царством немоты.
Но все ж — аз есмь! Есть боль в груди моей,
и есть слеза, что стену прожигает,
а там цветок на камне расцветает
в безумстве красок, вскриков, и огней.
Но рушилась душа твоя... И тут
твоей груди не стало половины —
они исчезли, чары Украины.
А в сердце злобно впился черный спрут.

* * *

Как в звездном небе музыка звонка!
Ручей звенит — в нем космос отозвался
до немоты, в которой изначался.
И зазвенела громкая река —
рассветов, грусти, щебета, тумана,
вся красками и зовами полна.
Дорога исчезаний! — Вот она
стезя рождений и тропа обмана.
Ведь, подневоленный, не приютишь
души, что ожидала у порога
знаменований. Шлет их нам дорога
в изломах доли. Тишь. И тиши тишь.

* * *

Так тонко-тонко сни мене вели
повз кучугури й урвища — додому,
туди, назустріч горю молодому,
де в кілька вод мої жалі текли
устами матері, дружини й сина.
Знялась моя жалоба до небес,
бо замість дому був дубовий хрест
так грубо струганий. І в ту хвилину
я був збагнув: ховається життя
за смерті паравани ажурові,
що, люблячи, ми з люблячого крові
річками точимо. Аби знаття,
я б свого серця не віддав нікому
і не стирав би марне постоли.
Так тонко-тонко сни мене вели
повз кучугури й урвища — додому.

* * *

Тато молиться Богу,
тужить мама. Сестра
уникає порогу,
хоч вернутись пора.
Уникає — радіє,
повертає — мовчить.
Повечір'я ще тліє,
іще хвіртка рипить,
іще видно дорогу,
іще гусне жура.
Тато молиться Богу
і ридає сестра.

* * *

Коли ти нишком в мій скрадешся сон
і станеш коло мого узголов'я,
не жур мене, що більше вже з тобою
я не зійдуся разом. Оборон
Господніх нам не відати. Прощай,
рокований на смерть, по бездоріжжю
я вирушив од тебе. Чорна хижа
ото любов, і спочив мій, і край.

* * *

Так тонко-тонко сны меня вели
через холмы и крутояры к дому,
туда, навстречу горю молодому,
где много дней потоками текли
из уст жены и матери и сына
мольбы по мне, взлетая до небес.
Но вместо дома был дубовый крест
так грубо строганный. И в ту годину
я понял вдруг — умеет жизнь скрывать
себя за смерти ширмою нарядной,
и что, любя, из любящих нещадно
мы реки крови льем. О, если б знать,
то я б не тратил сердца по-пустому,
и не плутал проселками, в пыли...
Так тонко-тонко сны меня вели
через холмы и крутояры к дому.

* * *

Папа молится Богу,
тужит мама. Сестра
не глядит на дорогу,
хоть вернуться пора.
Не глядит — веселеет,
а посмотрит — молчит.
Вечер все еще тлеет,
и калитка скрипит.
Ночь крадется к порогу,
грусть-тревога остра.
Папа молится Богу
и рыдает сестра.

* * *

Когда тайком в мой прокрадешься сон,
у моего возникнешь изголовья,
ты не жури меня — уже с тобой я
не встречусь боле. Божьих оборон
уже не ведать нам двоим. Прощай,
в беспутицу, на гибель обреченный,
прочь ухожу я, в развалюхе черной —
вот там любовь, и отдых мой и край.

* * *

Коли ти облетиш, як дух кульбабин,
і станеш, як колода на дровітні,
тоді спізнаєш правди гострий крик
під синім лезом. Як колун улипне
в обапола по вуха. Отоді
збагнеш, нарешті, непотрібну ціну
надій колишніх. Хрусне вір хребет,
до печі вкинений, пізнаєш, блазню,
комедії кінець. Пізнаєш вічність
нищівного багаття. Вторував
усеблагий дорогу до могили
одну. Під три чорти... (Перо лукаве,
даруй мій крик і розпач мій даруй).

* * *

Ти хоре, слово. Тяжко хоре ти.
І хто позаздрить животтю твоєму,
що тільки в молитви ачи в поему
годиться, поцуравшись марноти
святошних буднів. Рушаться світи
і суходіл міліє. Скільки щему
у грудях варіює вічну тему,
що легше вмерти, аніж осягти
погребні співи. Господи, подай
недугому високу допомогу —
нехай я віднайду собі дорогу
для мужнього конання. Рідний край
на белебні ясніє осіянний.
Почуй мене! І озовись, коханий!
І лиш недобрим словом не згадай.

* * *

Когда ты облетишь, как одуванчик,
колодой станешь в дровяном сарае,
тогда узнаешь правды острый крик
под клином топора, когда он влипнет
по оба уха с двух сторон. Тогда
осмыслишь неоправданную цену
надежд минувших. Хрустнет вер хребет,
в жар печи вброшенный, познаешь, клоун,
комедии конец. Познаешь вечность
костра безжалостного. Всеблагой
одну к могиле проторил дорогу.
Ко всем чертям... (Лукавое перо,
прости мой крик, отчаянье прости).

* * *

Как, слово, тяжело страдаешь ты.
Не одолеть безрадостную тему,
что только для молитвы иль в поэму
годишься ты, чураясь суеты
священных будней. Рушатся миры,
и суходол мелеет. Сколько горя
грудь разрывает, неотступно вторя,
что лучше умереть и видеть сны
без песен горьких. Господи, подай
болящему высокую подмогу —
пускай я отыщу себе дорогу
кончины мужественной. Отчий край,
там, в вышине, яснеешь осиянный.
Услышь меня! И отзовись, желанный!
Недобрым словом лишь не вспоминай.

Зміст

О СТУСЕ 5
«Не поспішай. Хай осінь і не жде...» 12
«На Лисій горі догоряє багаття нічне...» 14
«Бальзаку, заздри: ось вона, сутана...» 14
«Хрещатиком вечірнім під неоновим...» 16
«Від радості — у степ...» 18
«Високі думи відійшли, як грози...» 20
«Розспіваний сніг, розлінований лижами, ранній...» 22
СПОГАД 22
ОЗЕРО КИСЕГАЧ 24
«Там, де надріччя, біле од пісків...» 26
«Ще й до жнив не дожив...» 28
«У цьому полі, синьому, як льон...» 30
«Перейти Рубікон...» 32
«Калюжа, мов розчавлений павук...» 34
«Пожухле листя опадає з віт...» 34
«Сто років, як сконала Січ...» 36
«Схилившись до багаття давніх спогадів...» 38
«І глянув я — і ось кінь білий...» 38
«Це, припізніла молодосте, ти...» 40
«За мною Київ тягнеться у снах...» 40
«Отак живу: як мавпа серед мавп...» 42
«Мені здається, що живу не я...» 42

Пам'яті Алли Горської. «Заходить чорне сонце дня...» 44

Пам'яті Алли Горської. «Ярій, душе. Ярій, а не ридай...» 44

«Ще й до жнив не дожив...» 46

«О, скільки слів, неначе поторочі...» 46

«Ця п'єса почалася вже давно...» 48

МАРКО БЕЗСМЕРТНИЙ 58

«Не квиль, нічна душе! Даремні зойки...» 60

«Напевне, так и треба ...» 60

«Уже мене кудись поволокли...» 62

«Червневий сніг — на безоглядній сопці...» 62

«На схід, на схід, на схід, на схід...» 64

«Вже цілий місяць обживаю хату...» 64

«Дозволь мені сьогодні близько шостої...» 66

«Навпроти — графіка гори...» 70

«Колимські конвалії — будьте для Валі...» 72

«Між загород відшукуємо рай...» 72

«Терпи, терпи — терпець тебе шліфує...» 74

«Колючий посмерк повз, немов їжак...» 76

«На колимськім морозі калина...» 78

«Моє життя, мій Києве, прощай...» 78

«Уже моє життя в інвентарі...» 80

«І клекотіли хвилі... Чорна ніч...» 80

«Оцей світанок — ніби рівний спалах...» 82

«Наснилося, з розлуки наверзлося...» 84

«Невже ти народився, чоловіче...» 84

«Вже котрий це до тебе лист...» 86

«Так тонко-тонко сни мене вели...» 92

«І заступила геть мене робота...» 94

«Ці сосни, вбрані в синій-синій іній...» 96
«Яке жорстоке ти, пізнання...» 98
«Тюремних вечорів смертельні алкоголі...» 98
«Задосить. Приостань. І жди кінця...» 98
ВЕРТЕП 100
СПОГАД 102
«Круто круча росла...» 102
АНАЛІТИЧНЕ 104
«Від березня до вересня — життя...» 104
«Мені зоря сіяла нині вранці...» 106
«Всі райдуги відмайоріли...» 106
«Посадити деревце...» 108
«На тій сліпучій висоті...» 108
«Вже тридцять літ — немов карбів на дереві...» 110
«Усе росте довкола мене світ...» 112
«Біжить по стежці листя голосне...» 112
«Вороння пролетіло в сусіднім вікні...» 114
«Вже цілий тиждень обживаю хату...» 114
«Тато молиться Богу...» 114
«Недовідомі закипають грози...» 116
«Коли ти нишком в мій скрадешся сон...» 116
«Між співами тюремних горобців...» 116
«Церква святої Ірини...» 118
«Де свінула Софія світанкова...» 120
«Упали роси на зелені вруна...» 120
«Осінь крилами в груди б'є...» 122
«Коли в мій сон заходить Україна...» 122
«Здалося, я живу в країні мертвих...» 122

«Чого ти ждеш? Скажи — чого ти ждеш...» 124
«Ти десь уже за пам'яттю. В пітьмі...» 126
«Це — травень. Отже, літа пошукай...» 126
НАД ОСІННІМ ОЗЕРОМ 128
«Весь обшир мій — чотири на чотири...» 130
«Колимське сонце стало сторч...» 130
«Безпашпортний і закріпачений...» 132
«Ця чорнота попереду давно...» 132
«Це тільки втома. Втома. І шалена...» 134
«Відлюбилося...» 136
«Ти десь живеш на призабутім березі...» 136
Про згадку для Стефанії Шабатури.
«Москва. Столиця. В сотні лиць...» 140
«Перед будинком, у якому катують людину...» 140
«Напередодні свята...» 142
«Живи у душах інших, як вампір...» 142
«Спи. І не думай. Склепи свої очі. І спи...» 144
«Бриніли по обранених ярах...» 144
«Це просто втома. Втома і смертельна...» 146
«Ти десь за край світу, як птаха моя білогруда...» 146
«І що ж: коли немає долі...» 148
КОЛЬОРОВИЙ ОБРАЗОК 148
«Вік би не бачити й не чуть...» 150
«У німій, ніби смерть, порожнечі свічад...» 152
«Був віщий сон: немов на катафалку...» 152
«І так здалось: отут я й народився...» 154
«Самого спогаду на дні...» 156
«Ріка життя уже тече повз мене...» 158

«Комуністи — вперед! Комсомольці — вперед...» 158
«Лежу під сонцем вересня, укривишись...» 160
«Ждання — витратне. Ти — пунктир смертей...» 160
«Одна гора — зима, а друга — літо...» 162
«Неначе гуси, відлітають роки...» 162
КАМПАНЕЛЛА 164
«Коли я роки перебуду...» 164
«Прощайте ви, чотири мури...» 166
«Утрачені останні сподівання...» 166
«Живи у душах інших, як вампір...» 168
«О Боже мій! Така мені печаль...» 168
«Ти тут. Ти тут. Вся біла, як свіча...» 170
«Яка нестерпна рідна чужина...» 172
«Бринить космічна музика струмка...» 172
«Так тонко-тонко сни мене вели...» 174
«Тато молиться Богу...» 174
«Коли ти нишком в мій скрадешся сон...» 174
«Коли ти облетиш, як дух кульбабин...» 176
«Ти хоре, слово. Тяжко хоре ти...» 176

Літературно-художнє видання

СТУС ВАСИЛЬ

ПОЕЗІЇ. СТИХИ

ISBN 966-8919-78-7

Відповідальний за випуск
Євген Захаров

Переклад
Олександр Купрейченко

Комп'ютерна верстка
Олег Мірошниченко

Підписано до друку 11.09.2009
Формат 60 х 84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура A Classic SchoolBook
Друк офсетний. Умов. друк. арк. 10,34 Умов. фарб.-від. 11,2
Умов.- вид. арк. 11,4. Наклад 500 прим.

Видавництво «Права людини»
61112, Харків, вул. Р. Ейдемана, 10, кв. 37
Свідоцтво Державного комітету телебачення і радіомовлення України
серія ДК № 3065 від 19.12.2007 р.

Надруковано на обладнанні Харківської правозахисної групи
61002, Харків, вул. Іванова, 27, кв. 4
http://khpg.org
http://library.khpg.org